Лу Саломе

Лариса Гармаш

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Ей по праву принадлежит роль одной из самых исключительных женщин в истории Европы. Во всяком случае немецкий писатель Курт Вольф утверждал, что "ни одна женщина за последние 150 лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга".

И в самом деле, такой "коллекции" потерявших голову знаменитостей не встретишь более ни в одной женской биографии: Лу была "Великой Русской революцией" в жизни Ницше, её боготворил и воспевал Рильке, ею восторгался Фрейд, её собеседниками были Ибсен и Толстой, Тургенев и Вагнер, с её именем связывают самоубийства Виктора Тауска и Пауля Рэ, по настоянию Мартина Бубера, известного философа и близкого друга, ею была написана книга под названием "Эротика", которая стала бестселлером в Европе и выдержала 5 переизданий...

Лариса Гармаш

- Лариса Гармаш
- ЛУ САЛОМЕ
-
- Пролог. Женщина-зеркало
- У истоков "магического сестринства"
- Цветы маленькой Лели
- Мистерия выбора
- Молитва к жизни
- Так говорила Заратустра
- Совершенный друг и абсолютное зло Фридриха Ницше
- "Карьера в невозможном": начало
- Загадка замужества
- "Карьера в невозможном": "Междустранье"
- Женщина, разбудившая колокола
- Чудо под российским небом
- "…Я догоню тебя во мгле"
- Эротическое, слишком эротическое…
- Нарциссы по средам
- Перстень мэтра
- Осень Сивиллы
- Вместо эпилога. Карнавал и подлинность: Заратустра, Эвридика, Электра?..
- Хроника жизни
- Отзывы и свидетельства

- Библиография
- ПРИЛОЖЕНИЯ:
  - Лу Саломе.
  - Лу Саломе.
  - Лу Саломе.
  - Лу Саломе, Аким Волынский.

Лариса Гармаш

ЛУ САЛОМЕ (удивительная история жизни и приключений духа Лу фон Саломе)

Посвящается моему отцу

Здесь Боги странствуют в телах звериных,
Здесь каждый ждет одежд незримых,
И скипетров, что боль его утишат.
Боль от того, что нас никто не слышит.
Здесь холод накрывается жарою,
И редко духи дышат теплотою.
Здесь странники приходят на пороги,
Чтоб показать израненные ноги.
И вновь уходят.
И проходят годы.
И снова одиночество
И роды.
Но странный мир наполнен
Ею вновь.
Она — Любовь.
Н. Хамитов

Пролог. Женщина-зеркало

Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла…
Арс. Тарковский

Есть женщины, которые способны быть музами
только до тех пор, пока мужчина
бросает вызов мирозданию.
Они не прощают мужчине душевности.
Н. Хамитов

Ее враги говорили, что она коллекционировала известных мужчин, как другие коллекционируют картины, дабы выставлять их в своей частной галерее. Однако, справедливости ради заметим, что ее слава излюбленной собеседницы великих привлекала к ней известных и стремящихся к известности мужчин куда сильнее, нежели она сама искала их общества. Во всяком случае, Рильке в пору их знакомства невероятно гордился, что ему удалось проникнуть в магический круг ее друзей. Кто же были эти друзья?

После смерти Ницше две женщины опубликовали свои воспоминания о нем. Первой Ницше обязан всеми недоразумениями, существующими вокруг его имени. Это его сестра Элизабет Ферстер-Ницше, наследница и распорядительница его архива, слишком произвольное обращение с которым и породило нелепую легенду о Ницше как предтече национал-социализма. Другая — самый противоречивый персонаж в судьбе мыслителя: женщина, чье имя звучанием своим напоминает о библейской танцовщице, — Лу Саломе.

Ей по праву принадлежит роль одной из самых исключительных женщин в истории Европы. Во всяком случае, немецкий писатель Курт Вольф утверждал, что "ни одна женщина

за последние сто пятьдесят лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга".

И в самом деле, такой "коллекции" потерявших голову знаменитостей не встретишь более ни в одной женской биографии: Лу была "Великой Русской революцией" в жизни Ницше, ее боготворил и воспевал Рильке, ею восторгался Фрейд, ее собеседниками были Ибсен и Толстой, Шпенглер и Гамсун, Тургенев и Вагнер, с ее именем связывают самоубийства Виктора Тауска и Пауля Рэ, по настоянию Мартина Бубера, известного философа и близкого друга, ею была написана книга под названием "Эротика", которая стала бестселлером в Европе и выдержала пять переизданий…

Воздержимся от штампа "женщины-музы". Эта роль слишком одномерна для нее. Еще менее точной была бы попытка навязать ей образ непревзойденной гетеры XIX–XX веков. Ее мало развлекал "список поверженных". Какая же тайная неутолимая тоска гнездилась в ее душе, гоня ее "от костра к костру"? Исполняя на интеллектуальных подмостках Европы свой "танец семи покрывал", не свою ли собственную голову стяжала она? Ведь она хотела во что бы то ни стало реализовать на практике ницшевское кредо: "Стань тем, кто ты есть" — вскрой свою глубину, извлеки на свет свою подлинность!.. Она была великим и отчаянным экспериментатором… в режиссуре судьбы — собственной и окружающих.

Действительно ли она была завлекающе-гибельной сиреной интеллектуальной Европы? Против образа собирательницы скальпов, или "жадной губки, охочей до лучистых ежей эпохи" (С. Соловьев), свидетельствуют два немаловажных факта. Во-первых, Лу не меньше, чем мужчинами, восхищалась незаурядными женщинами своего времени — известные писательницы, исследовательницы, знаменитые феминистки были не только ее подругами, но и героинями ее эссе и аналитических статей. А во-вторых, и это самое важное, — всем мужчинам, которые когда-либо творчески поддержали, чему-либо научили или вдохновили ее, она щедро отплатила своими книгами: все ее великие визави обрели новую жизнь в ее романах, новеллах, философской эссеистике. В немецкой энциклопедии сказано, что Лу Андреас-Саломе — автор двадцати изданных при жизни беллетристических и эссеистических книг. Она сравнивается с наиболее известными немецкими писательницами своей эпохи. Сообщается также, что Лу фон Саломе была автором ста тридцати девяти научных статей, последняя из которых (опубликованная в "Венском психоаналитическом альманахе") имеет характерное

название — "Больной всегда прав".

Она была неповторима в изобретении уникального "жизненного стиля". Наверное, именно это она и считала своей по-настоящему главной задачей. Во всяком случае, современники в один голос отмечали ее уникальную энергичность, интеллектуальную мощь, блистательность ее беседы и ее красоту.

Ее лицо на сохранившихся фотографиях поражает сочетанием мягкости и отваги. Современный польский исследователь ее жизни и творчества Вильгельм Шевчук спрашивает: какое пластическое обрамление было бы для нее наиболее удачным? Вопрос, по его мнению, не праздный: ее черты были чертами очень современной женщины, их едва ли в состоянии отобразить классические техники. Шевчук считает, что ее облик и характер поддался бы сюрреалистической кисти Сальвадора Дали: великому испанцу, вероятно, удалось бы передать неуловимую тайну ее тончайшей рефлексии, печать непривычной, порой даже странной мудрости. Впрочем, следует заметить, что на самом деле существует один маленький, но удачный акварельный портретный набросок Лу (его можно увидеть в книге о Ницше, изданной в Веймаре в 1932 году). Этот набросок принадлежит кисти близкого друга Ницше композитора Петера Гаста. Вот что он писал о том впечатлении, которое произвела на него Лу, своей подруге Сесилии Гуттенбауэр: "Видел ее только раз и полчаса дискутировал с ней в ее комнате. Она гений с характером необычайно героическим. Немного выше меня, пропорционально сложена, белокурая, с древнеримскими чертами. Ее образ мыслей позволяет предположить, что ей хватает решимости и отваги заглядывать за самые дальние горизонты как в интеллектуальной, так и в этической сфере. Гений духа и сердца".

Лу продолжает очаровывать даже тем, что можно назвать ее неудачами: неспособностью провести точные границы между творческим, интеллектуальным обменом и любовью. Она создает трудности для тех, кто хочет четко отделить интеллектуальное от эротического, места действия педагогики от мест действия соблазна, познание от того, что Лу считала основой познания, — от любви. Она также — не без намеренности — создает путаницу в головах тех, кто хотел бы учредить четкие границы интеллектуального долга — ее в отношении других мыслителей и художников и их в отношении нее. Лу никогда не заботила проблема "дрейфа идей". Она прекрасно понимала, что, в силу уникального дыхания идеи в сердце и голове всякого подлинно думающего, идею невозможно заимствовать. И не проводя однозначной демаркации между своей работой и работой тех, кто ее восхищал и увлекал, она определяла саму женственность как

"свободу от интеллектуальной собственности". Быть может, правы были те, кто считал ее "женщиной до мозга костей", femme fatale?

Когда во второй половине XX столетия имя Саломе выскользнуло из тени забвения, к ее ярлыкам прибавились расхожие — "белокурая бестия", "бесполая Мессалина" и т. п. Еще в 1952 году, когда ею начали интересоваться заново, швейцарский критик Васерман безжалостно демонизировал ее: "…где бы ни появлялась, она оставляла после себя хаос, суматоху, подобно ручью, наполненному беспокойным духом и чувством: как она, этот порывистый поток не заботится о том, что он несет — благословение или уничтожение. Была в ней сила натуры предемоническая, избавленная от всех женских и почти всех мужских слабостей, которой не хватало немногого, чтобы стать фигурой античной или почти мифической, из доисторических времен".

Более точной и проницательной нам кажется характеристика Пола Роазена: "Лу, несомненно, должна была быть со всеми своими мужчинами, ибо только так она могла идентифицироваться с хрупкой частью своей личности, которая была ей необходима как основание. Но все мужчины, которых она любила, бывали вынуждены констатировать в итоге, что Лу ничего не дает от себя. Она зеркально возвращала им их содержание. Она порождала в них необходимость творчества и была их стимулом. Но как личность она оставалась игроком. Все ее мужчины нуждались в ней, но каждый ее любовник в конце концов обнаруживал, что она ему не поддается, уклоняется от него".

Первой серьезной попыткой "луведения" после лет забвения была вышедшая в 1962 году на английском языке книга Петерса "My sister, my spose" ("Моя сестра, моя жена"). Однако книга эта не лишена тенденциозности и акценты в ней расставлены специфически. Через три года ее перевели на немецкий язык под другим названием. Затем последовал французский перевод, пользуясь которым популярный журнал "Marie Claire" составил для своих читательниц изящно-поверхностный светский коктейль, из коего можно было в первую очередь почерпнуть информацию о бойкой авантюристке, питавшей пристрастие к "любовным треугольникам". В таком виде история Лу начала становиться популярной. В 1977 году эту статью перепечатал один из польских журналов, и таким образом информация о Лу впервые проникла в славянское культурное пространство. Долгое время этот сенсационно-популярный материал оставался практически единственным источником сведений о Саломе. На родине же Лу до последнего времени о ней практически ничего не было

известно, за исключением увлекательного эссе А. Эткинда в его замечательной книге "Эрос невозможного" да горсти ссылок в прекрасных статьях о Ницше К. Свасьяна.

На Западе на сегодняшний день существует обильный и противоречивый корпус литературы о ней, но книга Петерса по-прежнему во многом остается архетипической. Этот бестселлер, бесспорно, вдохновил и известного режиссера Лилиану Кавани на создание в 1978 году фильма совместного итальяно-американского производства под названием "По ту сторону добра и зла". Главные действующие лица фильма — Лу, Ницше и его друг философ Пауль Рэ. Фильм создан на волне современного эротизма, и действие его разворачивается опять-таки внутри магического любовного треугольника.

Все же осмелимся предположить, что архетипическая для судьбы Лу структура треугольника в наименьшей степени продиктована ее "нимфоманством" и в наибольшей — той особенностью ее мироотношения, которую можно было бы назвать магическим сестринством.

Младшая сестра пяти братьев, она, наверное, ощущала себя подобно андерсеновской Элизе из "Диких лебедей". *"Весь мир казался мне населенным братьями",* — писала она в своих воспоминаниях. Не здесь ли исток ее беспрецедентного успеха у мужчин, тайна всепобеждающей непринужденности ее обаяния?

В этом смысле название книги Петерса можно считать симптоматическим попаданием. Мифологема Сестры парит над нею.

Сораспятая на муку,
Враг мой давний и сестра,
Дай мне руку, дай мне руку! —
Меч взнесен!
Спеши.
Пора.

Так мог сказать и Ницше…

У истоков "магического сестринства"

Если хочешь — мы выйдем для общей молитвы
На хрустящий песок золотых островов.
Н. Гумилев

Маленькая Леля долго не могла поверить, что зеркала правильно отражают ее облик: свое единство со всем окружающим миром она ощущала как нечто настолько естественное, что никак не могла принять отдельность и ограниченность своего существа. Ей казалось, что весь мир должен волшебно продолжать ее сущность. Даже когда она пережила свою раннюю детскую "богоутрату", ее вера в чудесное всемогущество Доброго Бога преобразовалась в *"смутно пробудившееся чувство, которое уже никогда не исчезало, — чувство беспредельной солидарности со всем, что существует"*.

Неслучайно пятидесятилетняя Лу Саломе, пребывая уже в лоне фрейдизма, противопоставит фрейдовской мифологеме Эдипа свою мифотрактовку Нарцисса: Нарцисс смотрится не в зеркало, сотворенное рукой человека, а в живой источник и, значит, созерцает там не просто себя, а свое дивное единство со всей видимой природой. Так был оправдан и переосмыслен нарциссизм.

Этот изначальный принцип миросозерцания Лу дает ключ к разгадке ее чудесной способности "живого отзеркаливания". Она обладала не просто способностью живого и быстрого отражения встречавшихся на ее пути мужчин-гениев — она была их волшебным зеркалом: "смотрясь" в нее, Ницше увидел себя Заратустрой, а Рильке — нежным и чистоголосым Орфеем.

Как мог зародиться у земной женщины дар столь странный и редкостный? Исток нашей неповторимости всегда таинственен: ни образование, ни воспитание Лу не содержат никаких особых зацепок для понимания того, что же сформировало этот феномен. Бесспорно лишь, что впервые она столь остро ощутила в себе единство и отзвук мира благодаря своему сестринству. *"Братская сплоченность мужчин в нашем семейном кругу для меня как самой младшей и единственной сестренки столь убедительным образом запечатлелась в памяти, что с тех давних пор она, как бы излучаясь, переносилась в моем сознании на всех мужчин мира; когда я раньше или позже их где бы то ни было встречала, мне всегда казалось, что в каждом из них скрыт один из братьев"*.

Лу сознавалась: *"Позже, когда я сама порой поступала рискованно, меня буквально успокаивала мысль, что я с ними едина по происхождению; и действительно: никогда среди знакомых мне мужчин не было таких, чья честность взглядов, или чье мужество, или чья сердечная теплота не оживляли бы во мне образ братьев".*

После смерти их девяностолетней матери оставшиеся в живых братья предоставили Лу двойную долю наследства, хотя оба женатых брата должны были заботиться о пятнадцати детях, а Лу — ни об одном. *"На мой энергичный запрос по поводу завещания я получила ответ, что это меня не касается: разве я не осталась раз и навсегда их "маленькой сестренкой, как и прежде"?"*

Этот первый для Лу опыт солидарности человечества — ее братья — вновь оживает в ее поздних воспоминаниях, и портреты некоторых из них встают перед нами. *"Самый старший — Александр, Саша, — одновременно энергичный и добрый, — был для нас словно второй отец, такой же активный и, как и отец, всегда готовый оказать помощь всем, вплоть до самых дальних знакомых; при этом его отличали превосходное чувство юмора и зажигательнейший смех, какой я когда-либо слышала; его юмор рождался каким-то образом из взаимодействия трезвой и ясной силы ума с теплотой его характера — качество, при наличии которого для человека нет ничего более естественного, чем оказать помощь другому.*

В тот момент, когда я, пятидесятилетняя, в Берлине, получила неожиданную телеграмму с вестью о его кончине, мой первый, внезапный эгоистичный испуг заключал в себе единственную мысль: "беззащитна". — Второй брат — Роберт, Роба — самый элегантный танцор в мазурке на наших зимних домашних балах — был одарен всеми артистическими способностями и чувствительным нравом; он охотно стал бы военным, как его отец, но между тем был отцом определен в инженеры, в качестве которого затем и выдвинулся. — Таким же образом патриархальный семейный уклад решительно обращал третьего брата — Евгения, Женю — к дипломатии, во-преки его намерениям стать медиком".

В этом случае, однако, патриархальные устои натолкнулись на стену личностной воли — Евгений и Лу составляли "фракцию мятежников" в лоне семьи. Эти двое всегда поступали по-своему: они были словно женским и мужским проявлением одной сущности, вплоть до общности болезни (у обоих были слабые легкие).

Всех ее принципиально различно устроенных братьев, по воспоминаниям Лу, связывала одна общая особенность: их страстная профессиональная самоотдача, абсолютная

преданность делу. *"Третий брат подтвердил это, став детским врачом; впрочем, еще мальчиком он занимался с малыми детьми; но наряду с этим он всегда оставался в глубине своего "я" скрытным и "дипломатично"-таинственным"*.

Именно любимого брата Лу Евгения, используя его дипломатический дар, мать будет срочно вызывать из Петербурга, дабы отговорить неугомонную двадцатилетнюю упрямицу от "безумной затеи" жить интеллектуальной коммуной с Ницше и Рэ. В тот раз, впрочем, миссия Евгения провалилась.

"Из детских лет я вспоминаю также, как он осуждал меня из-за слишком явно агрессивной манеры поведения по отношению к запретам и однажды при этом так разозлил, что я бросила в него свою чашку с горячим молоком — причем вместо того чтобы вылить молоко на него, я выплеснула его себе на шею, откуда оно, горячее как кипяток, растеклось по спине; мой брат, хоть и отличался такой же внезапной вспыльчивостью, как и все мы, сказал удовлетворенно: "Видишь ли, о том же самом подумал и я, — и вот как это происходит, когда поступают неправильно". Годы спустя после того как он, уже сорокалетний, умер от туберкулеза, мне многое вновь открылось в нем, в частности также и то, почему он — долговязый, тонкий и совершенно некрасивый — вызывал у женщин несмотря на это безумную страсть, однако никогда ни одну женщину не взял себе в спутницы жизни. Порой, размышляя о том, в чем же заключался его шарм, я усматривала его источник в присущем Евгению элементе демонии. Иногда это связывалось у него с большим чувством юмора, — как, например, когда он решил на одном из наших балов заменить меня. Наложив на почти совсем обритую голову красивые, как картинка, локоны, слишком длинную и узкую неудавшуюся фигуру затянув современным корсетом, он завоевывал большинство приглашений в котильоне от молодых посторонних офицеров, лишь неточно знавших, что в доме имеется еще не повзрослевшая дочь, которая держится полностью обособленно".

Лу невольно выдает себя некоторыми деталями своих воспоминаний: она никогда не жила внутри своей семьи. Она сознается, что семейные традиции, ритуалы, празднества протекали на ее глазах, но не в ее душе. У нее были земные, живые братья, она же с самого начала ощутила свое сестринство скорее как символ. Как предчувствие странной миссии, смысл которой предстояло выстрадать всей жизнью. Ее судьбой было навсегда покинуть этот очаг. Это значило, что ей предстояло унести с собой то огниво, которым она повсюду будет разжигать очаги братства — чтобы неизменно покидать их. И воспоминание о братьях вдруг перебивается признанием:

"Я не любила балов. Мне нравились только бальные туфли без каблуков, которые и помимо уроков танцев я носила очень охотно, чтобы скользить в них по паркету большого зала как по льду — к этому соблазняли также и другие большие помещения, такие сверхвысокие, как в церквях… И это свойство, это скольжение в них было прочно связано с моими ежедневными радостями; вспоминая, я вижу себя скорее всего в этом движении: оно было, как будто только оно одно".

Эту привычку быть всегда в движении — притом легком, вальсирующем движении — Лу сбережет на всю жизнь…

Быть непостижимо близкой и одновременно неумолимо ускользающей от близости — в этом ключ магии ее сестринства. Всегда и вновь — образ непонятной девочки, неостановимо скользящей на пуантах по гулкой, пустынной зале. Не это ли создавало вечное напряжение, характерное для всех отношений, которые она строила в своей жизни? Не потому ли называли ее Сестрой-Врагиней?

И не отсюда ли известное ницшевское кредо о ценности иметь врагов?

Миссия сестры — не утешение, а спасение от забвения самого себя. Это придает ее поступкам священную беспощадность. Ее холодность была спасительна: так обмороженные руки растирают снегом. Как мало она похожа на других замечательных женщин эпохи: в ней нет теплого озорства Каролины, хищной притягательности Галы, властной преданности Козимы Вагнер. Она окружена ледяными красками северного сияния — Снежная Королева и Герда в одном лице… Не потому ли образ Саломе возбуждает столь тревожный, почти мучительный интерес? Интерес, который не утоляют, а лишь распаляют любые новые подробности, детали, нюансы ее судьбы? Не потому ли, что через нее с невиданной наготой в устоявшийся мир человеческих отношений ворвался вопрос: Чем вообще женщина может быть для мужчины? Кем она никогда еще не была для него?

Петер Гаст был прав: она действительно одной рукой убивает, чтобы другой подарить новую жизнь. Но не напоминает ли этот ритуальный образ действий обряд крещения? Разве можно достичь бессмертия, не пройдя через смерть? Хотя бы символическую? Быть может, Лу суждено было пробуждать апокалипсис в душах встречавшихся ей мужчин? Устремлять их к новому небу и новой земле?

Так ли это на самом деле? Была ли она в таком случае всегда на высоте своей призванности? *"Вечное отчуждение в вечном состоянии близости — древнейший, извечный признак любви. Это всегда ностальгия и нежность по недосягаемой звезде"*, — так

писала она сама. Ее образ потому и вызывает такую тревогу, что подымает со дна нашего сознания целый пласт позабытых архетипов христианской культуры. Она пробуждает вытесненную память о временах первых христиан, когда женщина была мистической сестрой всем братьям общины безраздельно. И внутренняя жизнь общины озарялась таинственным мерцанием; говорят, так светилась лесная келья, где преломляли хлеб святой Франциск со святой Кларой. И для того чтобы они могли стать Братом и Сестрой, он похитил ее, как трубадур. Названые Брат и Сестра всегда тянут друг к другу руки с разных краев пропасти, разделенные обжигающей и трепетной недостижимостью земной близости.

И никогда мы не делили ложа,
когда чудес и бдений близок час…
Но сердце все твое обнажено,
и только мне войти в него дано…

Слова, которые Рильке вложил в уста Марии Магдалины.

Но этот накал мистического притяжения и породил редкую окрыленность, присущую первым векам христианства. Лишь в IV веке Эльвирский, а затем Никейский соборы наложили запрет на присутствие в жизни духовенства этих "духовных жен", subintroductae, — и огрубевший мир стал забывать о тайне **сестринства.** Но оно прорвалось с новой силой в феномене средневековой алхимии — уже как **магическое** сестринство. Почти на всех алхимических гравюрах, изображающих "Великое Делание" алхимиков, присутствует таинственная фигура Сестры Алхимика. Любой великий человек — всегда алхимик, адепт Великого Делания, собственной духовной трансмутации. И у него всегда есть **Сестра,** которая присутствует в его священной ночи. С которой он должен слиться в философском инцесте. "Лунный голос сестры не смолкая звучит, наполняя священную ночь" — от этой строки Георга Тракля веет надеждой и жутью. Держась за руки, они должны совсем погрузиться в эти священные сумерки, чтобы там, в глубине глубин, встретить новое Солнце нового Дня.

Цветы маленькой Лели

Тень несозданных созданий
колыхается во мне,
словно лопасти латаний
на эмалевой стене.
Всходит месяц обнаженный
при лазоревой луне…
Звуки реют полусонно,
звуки ластятся ко мне.
В. Брюсов

Мы в дали отстояний поглядим.
И дали отстояний — станут дым.
А. Белый

Итак, 12 февраля 1861 года в доме генерального штаба на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге родилась девочка, которой "суждена была слава в большом мире и полное забвение на родине".

Она была единственной дочерью и младшим ребенком в семье генерала Густава фон Саломе — сестрой пяти братьев. Так что чувство некоторой исключительности принадлежало ей уже по праву рождения — маленькая Леля сразу стала любимицей, ведь пятидесятисемилетний отец давно мечтал о маленькой девочке. И хотя мать большого семейства Луиза (урожденная Вильм), по собственному признанию, предпочла бы иметь еще одного сына, все же быстро присоединилась ко всеобщему культу.

Ее называли русской или наполовину русской. Но история рода была на самом деле сложнее. Самой Лу помог узнать корни этой истории Рильке. 23 октября 1909 года он написал ей из Парижа, что представители рода Саломе, вероятно, находились среди изгнанных из Авиньона гугенотов — это были внуки или сыновья нотариуса Андре Саломе (Рильке добавлял, что вид Авиньона, их былой родины, с другого берега напоминает Великий Новгород).

Эта информация попала к Лу, когда она порвала все связи с семьей и мало интересовалась историей рода. Тем не менее в ее семье бытовала несколько иная вариация этой истории: якобы происходившие действительно из авиньонских гугенотов Саломе покинули Авиньон после Французской революции, *"после чего наш*

род долго еще пребывал в Страсбурге; затем мои предки пересекли границы Германии и очутились в Прибалтике, где в Миттау и Виндау простирался так называемый "малый Версаль". В моем детстве я часто слышала об этом рассказы домашних".

Так или иначе, в 1810 году шестилетний Густав Саломе оказался с семьей в Петербурге. На волне патриотических чувств после разгрома наполеоновской армии он поступил на военную службу и к двадцати пяти годам был уже в чине подполковника. *"Николай I присвоил ему после польского восстания 1830 года, во время которого он смог отличиться, вдобавок к французскому русский потомственный дворянский титул. Большая гербовая книга со словами кайзера в ней, со старым гербом — красно-желтым и с поперечными полосами внизу, и над этим — с русским гербом с двумя косыми красно-желтыми полосами под головой с забралом, мне еще очень памятна из наших детских впечатлений; не менее памятна изготовленная по распоряжению царя для моей матери нарядная игла, имитирующая золотую почетную саблю, с которой свисали все ордена моего отца — в крошечном, но точном воспроизведении".*

Помимо всего этого Густав Саломе был принят в генштаб русской армии и назначен статским советником.

Карьера его неуклонно шла в гору — при Александре II он исполнял обязанности инспектора русской армии.

"*Я выросла между двумя офицерскими униформами в полном смысле. Мой отец был генералом; на гражданском поприще он стал называться государственным советником, тайным советником, затем действительным тайным советником, но по службе оставался в здании генералитета также и в преклонном возрасте.*

И моя юная любовь, почти в восемь лет, относилась к юному (тогда действительно очаровательному) барону Фредериксу, адъютанту Александра II, впоследствии министру двора, который, став древним старцем, вынужден был в полной мере пережить еще свержение царя и переворот. Мои интимные чувства к нему ограничились, однако, следующим незначительным происшествием: когда я однажды при гололедице спускалась по широким лестничным ступенькам нашего генеральского здания и почувствовала непосредственно позади себя восхищенного поклонника, я поскользнулась и села на гладкий лед — после чего рыцарски спешащего за мной поклонника постигла та же участь; в неожиданной близости, по обеим сторонам выхода, сидя друг против друга мы пристально смотрели друг на друга: он — светло улыбаясь, а я — с немым восторгом".

В 1844 году Густав фон Саломе женился на дочери сахарного фабриканта, которая была младше его на девятнадцать лет. "*Моя*

мать, родившаяся в Санкт-Петербурге, отличалась гамбургско-северонемецким — кроме того, по материнской линии датским — происхождением; ее датские предки были Дуве (голубь)". Луиза Вильм с детских лет была готова к роли хозяйки большого дома с прислугой. Впрочем, позднее, когда в руки Лу попал ее дневник с молитвами и афоризмами, она обнаружила, что матери была присуща и романтическая жилка.

В доме Саломе говорили по-французски и по-немецки, но генерал считался большим русским патриотом и старался привить Лу любовь к русской культуре и литературе. *"Мы чувствовали себя не только "на русской службе", но и русскими", —* писала Лу в воспоминаниях. Отец был близок с Лермонтовым и, хотя не разделял его взглядов, пытался ему помогать. Позднее Лу будет обсуждать с Ницше "Демона" и "Мцыри", и их стремительно вспыхнувшая близость во многом обязана этому молниеносному узнаванию душ благодаря общему символическому коду, который они угадали в "романтическом титанизме" Лермонтова.

Однако при всем при том Лу училась в английской школе и на уроках русского была только вольнослушательницей. Вообще, она по-русски изъяснялась довольно слабо, и строгий генерал, проявив неслыханный для себя либерализм, разрешил Лу не посещать школу, сказав: "Школьное принуждение тебе ни к чему". Лу об этом никогда не пожалела, ибо утверждала позднее в своих воспоминаниях *("Опыт России"),* что ни в маленькой частной английской школе, которую она посещала сначала, ни в последующей большой она *"ровным счетом ничему не научилась".* Отношения же со школьными товарищами (состав учеников был очень разношерстным в национальном отношении) у нее не складывались в силу глубокой интравертности Лу и ее полного безразличия к модной тогда политической проблематике. *"Тогда повсюду, вплоть до школьных заведений, бродил дух восстания, который у народников обрел свою первую программу. Едва ли можно было быть молодым и оживленным, не будучи захваченным этими настроениями; к тому же дух родительского дома, несмотря на лояльное отношение семьи к бывшему царю Николаю I, был проникнут атмосферой озабоченности и настороженности по отношению к существующей политической системе, в частности, после реакционных преобразований "царя-освободителя" Александра II. Что меня сохранило в изоляции от этих мощных интересов времени, так это в первую очередь энергичное влияние моего друга, с которым связана моя первая большая любовь: то обстоятельство, что он, голландец, чувствовал себя в России полностью как иностранец, должно было также и на меня повлиять в определенной степени "антирусски"".*

Итак, генерал махнул рукой на формальности образования, и Лу росла в полном смысле слова самоучкой. Все же отцовская терпимость дала великолепные плоды: трудно найти более страстно одержимого идеей постоянной учебы человека, чем Лу, притом на протяжении всей ее жизни. В восемнадцать лет она весьма энергично убедила мать дать ей образование в лучших университетах Швейцарии, затем была, по интенсивности подобная взрыву, с ночными бдениями и дискуссиями сутки напролет *"школа Ницше"*. Пренебрегавшая в школе русским, тридцатисемилетняя Лу вместе с Рильке будет жадно наверстывать упущенное, одержимо штудируя русскую историю и литературу. Она будет много переводить с русского на немецкий и напишет серию эссе о русской культуре. И наконец, рассказывая в воспоминаниях о том периоде своей жизни (Лу было уже за пятьдесят), когда ее захватил психоанализ, она именно так и назвала это повествование — "В школе Фрейда". Воистину, отсутствие в детстве образовательной муштры обернулось для Лу тем, что учение стало ее "способом жизни".

Маленькая Лу жила в достатке в отдельном крыле генеральского дома вблизи Эрмитажа, Адмиралтейства, посольств и клубов. Общепризнанная любимица в семье, она, казалось бы, должна была иметь классическое счастливое детство, но на самом деле росла странной девочкой, даже дичком. *"Мое детство прошло в совершенно фантастическом одиночестве, и в дальнейшем все мои мысли и устремления развивались вопреки всем семейным традициям и приводили к неприятностям"*. По большому счету, Лу жила островитянкой — отшельницей-робинзоном — на элитном острове, не принимала участия в семейных приемах, не искала контакта со сверстниками, и ее внутренняя жизнь занимала ее несравненно больше, чем любые внешние события. Лу часами гуляла в садах Петергофа, где она проводила каждое лето, и рассказывала петергофским цветам придуманные ею истории.

"Я часто была "непослушной" девочкой, и из-за этого меня ужасно наказывали березовой веточкой, на которую я никогда не упускала случая пожаловаться надменно Доброму Богу. И он был полностью на моей стороне и даже иногда разгневан…"

Конечно, строптивости и упрямства Лу было не занимать, но главная причина ее разногласий с миром взрослых крылась в ином. *"Живость моего воображения постепенно подводила меня к расширению рамок каждодневной жизни видениями, которые я накладывала на реальные события и которые чаще всего вызывали улыбку. Однажды летним днем, когда я возвращалась с прогулки с одной родственницей чуть старше меня, нас спросили: "Ну хорошо,*

что вы видели на прогулке?" Со множеством подробностей я рассказала целую драму. Моя маленькая спутница, по-детски честная и простодушная, посмотрела на меня с расстроенным видом и оборвала меня, крича ужасным голосом: "Но ты же лжешь!"

Мне кажется, что именно с того дня я старалась выражаться точно, пытаясь ничего не добавлять, даже самую малость, хотя эта ограниченность, которую мне навязывали, меня страшно расстраивала".

Как оказалось, близкие Лу не проводили различия между мифом и ложью. После этого случая Лу поняла, что ей нужно изменить слушателя своих историй на бесконечно щедрого и доверчивого: свои сказки о подлинной жизни она начала рассказывать по вечерам в темноте Доброму Богу. *"Я ему изливала легко, без понукания целые истории. Эти истории были особенными. Они возникали, мне кажется, из желания обладать властью, чтобы присоединить к Доброму Богу внешний мир, такой будничный рядом со скрытым миром. И совсем не случайно, если я заимствовала материал для своих историй в реальных событиях, во встречах с людьми, животными или предметами, — иметь Бога в качестве слушателя было достаточным основанием, чтобы придать им сказочный характер, который мне не нужно было подчеркивать. Напротив, речь шла только о том, чтобы убедиться в существовании реального мира. Конечно я не могла рассказать ничего такого, чего Бог в своем вечном всеведении и могуществе уже бы не знал; но это как раз и гарантировало в моих глазах несомненную реальность моих историй. Поэтому, не без удовлетворения, я начинала всегда с этих слов: "Как Тебе известно…""*

В полном соответствии с классикой Эдипова комплекса Лу тянулась к отцу, который являлся для нее непререкаемым авторитетом, и с детства была отчуждена от матери. *"Еще в очень раннем детстве моего отца и меня связывала некая неуловимая тайная нежность, о которой я лишь смутно припоминаю, что она исчезала при появлении Мушки (так в семье называли мать. — Л. Г.), которая не одобряла выражения чувств. В старых письмах моего отца к матери, в то время как она с младшими детьми находилась в заграничном путешествии, я прочитала после его смерти приписку: "Поцелуй за меня нашу маленькую девочку. Думает ли она еще иногда о своем старом папе?" Горячие воспоминания нахлынули на меня… Мне припомнились наши прогулки в ясные зимние дни вдвоем: повиснув на его руке, я полулетела огромными парящими в воздухе шагами рядом с его длинным спокойным шагом. При этом мы однажды повстречали*

одного из многочисленных русских нищих, и я хотела сунуть ему серебряную десятикопеечную монету, которую получила, чтобы учиться "правильно распределять деньги". Но тут мой отец пояснил мне: суть верного распределения состоит в том, что всегда достаточно половины того, чем обладаешь, вторая же половина неизбежно причитается ближнему. И он с серьезным видом разменял мне маленькую десятикопеечную монетку на два восхитительных крошечных серебряных пятачка".

И все же, несмотря на идиллический настрой, в эти воспоминания об отце вновь вторгается тема наказания. *"Еще совсем юной я из-за странной болезни, которую называли "боль в результате роста", была временно ограничена в ходьбе и, получив в утешение мягкие красные сафьяновые сапожки с золотыми кистями, восседала, как на троне, на руке моего отца столь охотно, что дело кончилось плохо: так как я вследствие этого никоим образом не сигнализировала о прекращении болей, тот же самый нежный отец применил к тому же самому месту тела, которое прижималось к его руке, — с тяжелым сердцем, но непоколебимо, крепкие маленькие березовые прутья".* Неслучайно, видимо, проблема амбивалентного воздействия наказания на детскую психику станет позднее предметом тщательного психоаналитического исследования, предпринятого Лу совместно с Анной Фрейд.

Впрочем, впоследствии Лу признавала, что в ее отношениях с обоими родителями отсутствовала — в сравнении с огромным большинством детей, из воспоминаний которых она позже с удивлением это обнаружила, — пылкость в проявлении чувств, будь то утешение или любовь. Всегда оставалось пространство некоторой дистанции… или свободы.

Более душевными и во всяком случае специфически русскими были ее воспоминания о кормилице и няне (кормилица в семье была только у Лели). *"Моя кормилица, мягкая красивая женщина, была очень привязана ко мне. Позже, после того как она совершила паломничество в Иерусалим, она даже достигла "Малого Святого Причастия" — над чем мои братья громко хохотали и что меня сделало невероятно гордой за мою кормилицу. Русские няньки справедливо славились своими удивительными материнскими чувствами (хотя, конечно же, гораздо меньшим искусством воспитания), и не всякая родная мать могла бы в этом с ними тягаться. Среди них повсюду еще встречались отпрыски крепостных крестьян, и уже поэтому, воскрешая в памяти слово "крепостной", можно было бы испытывать благодарность. Вообще же русские слуги в нашей семье были изрядно разбавлены "нерусскими элементами": татарами-кучерами, (которым*

отдавалось предпочтение из-за их воздержания от спиртного) и эстонцами. В нашем доме смешались веры евангелическая, греко-католическая и магометанская, старый и новый календарный стили в отношении постов и выдачи жалования. Еще более пестрым все это было в результате того, что нашим загородным домом в Петергофе управляли швабские колонисты, которые в одежде и в языке строго придерживались своих образцов, действующих на давно покинутой швабской родине".

Словом, культурная гибкость, которая позволила Лу так органично влиться в европейский контекст, была во многом предзадана ее образованием и даже особенностями повседневного быта. Но в Лу надолго остался открытым вопрос ее подлинной культурной принадлежности. Годами она возвращалась к истокам, "врастала", как она выразилась, в свою "русскость". Когда двадцатилетняя Лу встретилась с Иваном Тургеневым, едва ли он увидел в ней характерный образ соотечественницы. (Интересно, могла ли Лу пополнить галерею "тургеневских" девушек? Ее фотографии той поры порождают ряд "тургеневских" ассоциаций: одухотворенность, неприступность, загадочность — казалось бы, все составляющие образа налицо… И все же какой-то компоненты "тургеневской" героини в ней недостает — быть может, чисто славянской жертвенности, самоотреченности?) Иностранкой она показалась и Льву Толстому. Однако же для Ницше и его окружения Лу была безусловно русской, таинственной чужестранкой. Скрывался ли за этим просто штамп восприятия, тяга европейцев к экзотике или нечто большее, заметное лишь постороннему глазу? Быть может, характерное сочетание мудрости и детскости? "Предельной серьезности мужчины и отважной беззаботности ребенка", по словам одной из ее подруг? "Все настоящие русские — это люди, которые в сумерках говорят то, что другие отрицают при свете", — писал Рильке своей матери после знакомства с Лу. Но лишь его соучастие в "Великом Возвращении" откроет для нее Россию как просвет в сказочный мир. До этого Россия по большому счету оставалась для нее неузнанной.

"С собственно русской страной я едва ли могла хорошо познакомиться: лишь пара поездок к моему второму брату Роберту, который в качестве инженера уже отправился далеко на восток (Пермь, Уфа), способствовала моему первому знакомству в Смоленской губернии с чисто русским обществом. Но сам Санкт-Петербург, это притягательное соединение Парижа и Стокгольма, несмотря на его царское великолепие, с катаниями на санях и железными зданиями в иллюминации на Неве, с его поздними веснами и горячими летами, производил впечатление чисто

интернационального города".

И все же образ города детства стал первой ниточкой того волшебного клубка, который приведет Лу к позднему открытию России. И потом всегда, всякий раз заново дымка белых петербургских ночей, голос кондуктора в вагоне, называющий ее матушкой или голубушкой, тройной звонок — сигнал к отъезду — пробуждали в ней *"незабываемое счастье родины".*

Мистерия выбора

Естественно, обычно, вечно
уходит женщина. Не тронь.
Так, уходя идет навстречу
кому-то ветер и огонь.

Молить напрасно, звать напрасно.
Бежать за ней — напрасный труд.
Уходит — и ее как праздник
уже, наверно, где-то ждут.
С. Орлов

С помощью ежедневных домашних молитвенных часов родителям так и не удалось принудить Лу ко вниманию и сосредоточенности. Ее желание свободы приводило к частым конфликтам с матерью. Многие ее поступки таили зерна вызова, впрочем, Лу казалось, что всякая ее инициатива и самостоятельность расценивается как опасный гонор.

"Однажды ключ от какой-то закрытой двери был утерян, и мои братья прибежали с готовностью помочь, но мне уже удалось открыть дверь без инструмента. Когда же я с триумфом рассказала об этом маме и на ее вопрос: "Чем же ты ее открыла?" — ответила: "Своими пальцами", — я увидела, как ее лицо окаменело. Она сказала только: "Моей матери я никогда бы не отважилась так ответить: то, что ты открыла ее не ногами, я и так знала хорошо". Я смотрела на всех окружающих так, словно натолкнулась на нечто непредвиденное, и так оцепенела, что была абсолютно не в состоянии объяснить свою дерзость".

В другой раз отец на совместной молитве внезапно приказал ей прочитать "Отче наш", она же вместо этого запела народную песенку. Отец удивился, но ничего не сказал.

Рассказы же, которыми она по вечерам делилась с Богом, стали причиной ее первого глубинного потрясения. Об одной рассказанной Богу истории она захотела узнать Его мнение, но Он молчал, — и это означало катастрофу: либо Бог покинул ее, либо вообще исчез из Вселенной.

"А дело было так.

Слуга, который зимой приносил в город свежие яйца из нашей сельской усадьбы, рассказал мне, что он видел посреди сада, перед

домиком, принадлежащим только мне одной, "семейную пару", которая хотела войти, но которую он выпроводил. Когда он в следующий раз пришел, я у него спросила о парочке — конечно же потому, что мысль об их страданиях от холода и голода меня беспокоила:

— Куда же они ушли?

— Ну, — сообщил он мне, — они не ушли.

— Тогда они все еще перед домиком?

— И это не так: они полностью изменились… и, можно сказать, исчезли.

Потому что однажды утром, когда он подметал перед домом, он нашел только черные пуговицы от белого манто женщины, а от мужчины осталась лишь совсем мятая шляпа; земля же в том месте была все еще покрыта их застывшими слезами.

То, что взволновало меня в этой истории больше всего, не было чувством жалости к паре, — это была непонятная загадка времени, которое проходит и уносит с собой вещи неоспоримые и реальные…"

Но Бог *"лишил"* ее *"настоящего объяснения"* этой загадки времени. *"И это было не только моей личной катастрофой: она разорвала покрывало, скрывающее невыразимый ужас, который нас подстерегал. Потому что не только я* ***одна*** *видела, как* ***уходит*** *Бог, — его потеря коснулась всей Вселенной".*

Эта катастрофа коснулась даже героев ее сказок и историй. *"Я помню — в разгар моей кори, в приступе горячки — кошмар, в котором я наблюдала многочисленных персонажей своих историй, бездомных и одиноких, покинутых мною. Без меня никто из них не знал, куда идти, ничто не могло их освободить от смятения… Ведь теперь мои истории не начинались, отдыхая какое-то время на нежных руках Бога, и Он не извлекал их из своих огромных карманов, чтобы сделать мне подарок, полностью освященными и оправданными. Были ли они настоящими с тех пор, как я не начинала их больше с уверенного: "Как Тебе известно…""*

Эта детская утрата Бога не сделала ее совершенной безбожницей, но позволила ей меньше обращать внимания на требования родителей к ее поведению, ведь и они утратили Бога, хотя еще не знали об этом…

Загадку двух пропавших образов, которую она впервые должна была решить без помощи Высшего Существа, Лу оживит в новелле *"Час без Бога",* которую она поначалу расскажет детям своей подруги Хелен Клингенберг — Рейгольду и Герде. И все же в своем самом первом детском стихотворении, *"начертанном в таинственном свете бессонных ночей бабьего лета",* Лу обращается если не к Богу, то к Небу:

О небо, ясно распустившееся надо мною,
Именно к тебе я взываю:
Сделай так, чтобы отныне радости и горести
Не мешали мне глядеть на тебя!
Ты, простирающееся над миром
Сквозь пространства и бури,
Укажи мне путь, в котором я нуждаюсь,
Чтобы обрести тебя…

В шестнадцать лет Лу стала посещать занятия для конфирмантов при евангелическо-реформатской церкви. Ей претил суровый догматизм этого вероучения, воплощением которого был ее консервативный пастор Дальтон, и на занятия она ходила только из любви и уважения к больному отцу. Отец и мать Лу, не будучи изначально глубоко верующими людьми, со временем совершили, по словам Лу, *"настоящее путешествие в религиозный мир благодаря влиянию балтийского пастора Икена, который внес в несколько сухое морализирование петербургских евангелических церквей пиетический благочестивый дух"*. И именно отец Лу в свое время затребовал у кайзера разрешение на основание германско-реформатской церкви и получил его. Пастор Дальтон хотел бы подражать Икену, но ему не хватало вдохновения. Икен действовал как визионер, Дальтон же был по-прусски суров и педантичен, его называли "прокураторским" проповедником. Все боялись Дальтона, только Лу оказывала ему явное сопротивление. Такое поведение можно было списать на возраст, но Дальтон считал, что в этом ребенке скрывается непонятная преждевременная зрелость духа. Лу запомнилось, как во время одной из первых конфирмационных лекций у этого нетолерантного пастора она, услышав, что "нет такого места, где бы не присутствовал Бог", прервала его словами: *"Есть такое место — Ад"*. С этого момента начинается ее война с Дальтоном.

О существовании Сатаны Лу знала от матери, но удивлялась, как он может существовать возле Бога. Задавать Дальтону вопрос о реальности Дьявола и его искушений Лу не стала. Ей пришло в голову, что пастор не преминет обратить вопрос против нее и по существу она все равно ничего не услышит.

Впрочем, Дальтон не был фанатиком времен Лютера и не верил в действие нечистых сил Сатаны; когда Лу сообщила ему, что собирается выйти из церкви, он ответил сухо, что в такой ситуации должен поговорить с господином генералом. И из любви к больному отцу Лу согласилась на следующий год повторить ненавистный курс у Дальтона.

Над кроватью у Лу висел ящичек-календарь с пятьюдесятью двумя цитатами из Библии, которые каждую неделю менялись. И хотя в своей жизни Лу не раз будет терять Бога и вновь искать Его, подобное религиозное воспитание не могло не оставить своего отпечатка. Именно от него рекомендовал ей избавиться Ницше, предлагая "взамен" гётевский девиз из "Горячей исповеди":

Жить бесстрашно,
Избавиться от половинчатости,
Всеполноту добра и красоты
Ценя всего превыше.

Эта фраза, записанная ницшевской рукой, сохранилась на пожелтевшем обороте одной из пятидесяти двух упомянутых библейских сентенций. Содержавшиеся в ней слова о кротости и служении иррационально чем-то так взволновали Лу, что, устроившись за границей, она попросила переслать ей наряду с другими вещами и этот листок. *"В то время я не могла бы убедительно объяснить, почему я это сделала. Но календарь с этим изречением и сегодня все еще у меня, и это можно понять, потому что до сих пор во мне еще просыпается это раннее чувство заброшенности, смешанное с полной покорностью судьбе. Эта цитата необъяснимо поддерживала меня все те годы, когда Бог был мне чужим".*

Тот же Ницше предложил ей избрать более "земное" кредо:

Но, собратья по столу,
Чаще ссорьтесь с ленью,
Следуйте всегда во всем
Высшему веленью.
Станем цельны мы сердцами,
Добрыми пойдем путями
К верному спасенью!
Надаем глупцам щелчков,
Чтоб отбить охоту
В златопенное вино
Лить гнилую воду,
Трезвость глупую забудем
И любимых наших будем
Целовать без счету!
(Гёте. "Горячая исповедь", 1802)

Однако Лу не спешила отрекаться от впитанных с детства религиозных интуиций и дала отпор искусам Ницше, хотя ничего не имела против Гёте.

Тем временем упрямый отказ Лу конфирмоваться у Дальтона выглядел как вызов не только религиозным устоям, но и национальным традициям. Дело в том, что *"евангелическо-реформатские церкви — французская, немецкая и голландская — являлись, наряду с лютеранскими, для неединородных, то есть неправославных, семей чем-то вроде оплота веры и национальной культуры, даже тогда, когда иные иностранцы полностью уходили в русскую веру; поэтому мой уход из церкви был неизбежно сопряжен с общественной опалой, от чего, в частности, сильно страдала моя мать. О моем отце, который умер незадолго перед этим, я знала определенно, что он, несмотря на еще более глубокую скорбь из-за неверия своей дочери, все же одобрил бы этот шаг… Он не имел привычки говорить о религиозных мнениях, и только тогда, когда я после его смерти получила в подарок Библию, которую он держал преимущественно в личном употреблении, передо мной по тонко подчеркнутым местам предстал его истинный портрет верующего. Благоговение, молчаливое смирение и детская доверчивость этого мужественного, деятельного, авторитетного человека так глубоко взволновали меня, что я, в свои шестнадцать лет, оказалась буквально в плену у страстного желания узнавать о нем все больше и больше"*.

Итак, от конфирмации она все-таки отказалась. Но в другом приходе ей довелось услышать проповедь голландского пастора Хендрика Гийо, домашнего учителя детей Александра II и властителя дум русской интеллигенции того времени. Проповеди этого весьма светского человека и рационалиста были известны всему Петербургу. Дальтон был его ярым противником.

В собор, где проповедовал Гийо, Лу пришла втайне от семьи. Личность поистине блестящая, широко эрудированная и фундаментально образованная, пастор сразу покорил ее своим обаянием. Она вернулась, переполненная восхищением: "этот настоящий человек", "квинтэссенция действительности", должен был стать для нее *"Господом и орудием Господа"*. Гийо был на двадцать пять лет старше Лу и имел двух дочерей ее возраста. В мае 1878 года она решилась отправить ему письмо:

"…Вам пишет, господин пастор, семнадцатилетняя девушка, которая одинока в своей семье и среди своего окружения, — одинока в том смысле, что никто не разделяет ее взглядов, не говоря уже о тяге к серьезным глубоким познаниям. Вероятно, весь строй моих мыслей ставит преграду между мной и моими сверстницами, всем

кругом общения. Вряд ли может быть что-то более печальное для девушки, чем несходство ее характера и взглядов, ее симпатий и антипатий с характерами и взглядами, с симпатиями и антипатиями окружающих. Но так горько запирать все в себе, потому что иначе сделаешь что-нибудь против приличий, и так горько чувствовать себя совсем одинокой, потому что тебе недостает приятных манер, которыми так легко завоевать расположение и любовь. Буду ли я конфирмоваться в будущем году у пастора Дальтона и признаю ли его кредо, я, право, не знаю, но знаю только, что никогда, никогда не буду разделять тщеславных представлений о выверенной по линейке праведности, против которой восстает все существо мое. Вы сумеете, господин пастор, вообразить себе ту отчаянную энергию, с какой человек устремляется к малейшему проблеску света, и всю настоятельность моей просьбы, изложенной в начале письма…"

Письмо, очевидно, произвело на пастора впечатление, и они встретились. Должно быть, между строками оно таило нечто большее, чем просто просьба впечатлительной девушки о встрече, ибо ждал он ее с нетерпением и, как только она вошла в комнату, обнял как давнюю знакомую.

Эта встреча была первой в череде тех судьбоносных сюжетов, которые круто изменяли жизнь Лу.

"Вот что со мной произошло: детские химеры и грезы переплелись с реальностью. Существо из плоти и крови, посланное мне судьбой, нисколько не нуждалось в "нимбе" из моих грез и химер, но с неизбежностью было окутано ими. Волнение, которое это существо высекало во мне, лучше всего выразить словами "человеческое существо!" — нечто самое удивительное и самое невероятное из всего, что было до того в моей жизни, и в то же время до невозможности близкое, такое, которого я всегда ждала. И потому оно порождало неизбывное удивление; разве что Добрый Бог был столь же близок для ребенка, поскольку, в противоположность ограниченному внешнему миру, он реально присутствовал в его душе".

Целый год втайне от семьи Лу встречалась с пастором, чтобы штудировать философию, историю религии, голландский язык… Героями их бесед были Кант и Спиноза. Ее странные мечты и тягостные раздумья Гийо готов был выслушивать очень серьезно, освобождая тем самым от мучительного утаивания самой себя.

"Но этот богочеловек, более всего казавшийся врагом любой химеры, решительно стремился дать моей душе более позитивную перспективу, и я ему повиновалась с тем большей страстностью, чем труднее мне было привыкать к этой перемене: любовный хмель, который поднимал меня над собой, не мог придать мне

реальности, а значит в одиночку я все еще не дошла до края той пропасти, с которой срываешься в реальный, до сих пор остававшийся незнакомым для меня мир".

Начинаются лекции, следы которых находим в записных книжках Лу, — лекции, к которым Гийо готовился абсолютно серьезно. Лу не протестует против "перебора" информации, а работает так, как будто впереди у нее выпускной экзамен. В сфере их интересов христианство в сравнении с буддизмом и исламом (Флейдерер, "Философия религии на исторической основе"), примитивные религии, логика, метафизика, теория познания, французская литература и театр. Из философов — Шиллер, Кант, Кьеркегор, Лейбниц, Вольтер, Фихте, Шопенгауэр: *"за несколько месяцев я вобрала в себя немалую часть наследия западной культуры".* Темп погружения в таинства наук, избранный ею, был настолько интенсивен, что не обошлось без хлопот со здоровьем — во время лекций Лу неоднократно падала в обморок.

В тот период Гийо работал в голландском посольстве: моряков необходимо было приводить к присяге, посему потребовалось создать пост священника. Он проповедовал в капелле на Невском — как на немецком, так и на голландском языках. *"Я не пропускала ни одной проповеди в силу любопытства видеть, испытывают ли присутствующие надлежащий подъем и достаточно ли они пленены (он был блестящим оратором)".* Пастор целиком вовлек Лу в работу, она росла стремительно: это была увлекательнейшая учеба и творческая деятельность до изнеможения — Лу часто писала для Гийо проповеди. *"Закончилось это в тот день, когда в творческом пылу я не воспротивилась искушению выбрать тему "Имя как звук и дым" вместо библейской цитаты: это стоило ему выговора папского посла, о котором он мне сообщил с явно расстроенным видом".*

> Чувство — все.
> Имя — звук и дым, которым мгла заслоняет
> Небесный жар! —

эти строчки из Гёте Лу использовала в опальной проповеди.

"Звук и дым" в интерпретации Дальтона явились неслыханным богохульством. После этой цитаты из "Фауста", вставленной Лу в проповедь Гийо, власти стали пристальней следить за ним…

В те времена, вспоминала Лу, в Гийо ей виделся Бог, и она поклонялась ему, как Богу. Драма назревала с неизбежностью. Чтобы предсказать ее, не требовалось особой проницательности. Экзальтированная девичья идеализация должна была

натолкнуться на живого человека.

Гийо был *"мужчиной, которого я обожествляла и которого, вне этого усилия мифотворчества, я не могла ясно воспринимать. Между тем это обожествление было мне выгодно, так как… оказывалось необходимым для моей полноценной самореализации. Впрочем, амбивалентная установка, которая всегда лежала в основе моей личности, по отношению к нему проявилась в том странном факте, что я никогда не была с ним "на ты", даже когда он обращался ко мне именно так, и это невзирая на то, что мы вели себя как любовники (на деле ими не являясь). Моя жизнь протекала в интимных нюансах, — и "ты" не могло их передать…*

Таким образом, мой учитель, вопреки суровости, неизбежно становился достаточно расточительным, каким был когда-то "Божественный дед" моей детской религии, который всегда внимал зову моих желаний: господин и средство сразу, проводник и соблазнитель, он, казалось, служил всем моим незамутненным намерениям. Но, насколько он вынужден был остаться для меня в некотором роде замещением, двойником, возвращением к утраченному Доброму Богу, настолько он был не способен дать мне подлинно человеческую развязку нашей истории любви".

Они неуклонно сближались, и это было мучительно для обоих: однажды Лу потеряла сознание, сидя на коленях у пастора. Атмосфера лекций была тайной, не раз он просил слуг о молчании, вынашивая далекие от диктуемого материала планы… Дух конспирации, нежные рукопожатия, отеческие поцелуи Гийо и определенный уровень интимного напряжения, царящий в этой нестандартной ситуации, должны были мало-помалу пробудить ее женственность. *"Бывает, что для всей жизни наступает момент, когда стремишься к новому дебюту, разновидности возрождения, и формулировка, определяющая чувственную зрелость как второе рождение, верна. Но именно из-за медлительности моего созревания неполный опыт любви хранил для меня несравнимое, уникальное очарование, сопряженное с ощущением неопровержимой подлинности, так что все это не нуждалось ни в каких проверках".* Лу разрывалась между состоянием глубокого духовного комфорта, который несла близость с пастором, и всевозрастающей тревожностью, беспокойством, в коих она не решалась ему сознаться, боясь нарушить хрупкое равновесие их связи. Гийо же втайне думал о разводе: он был убежден, что она, которая с такой готовностью и усердием принимала все его знания и замечания, когда пробудится к полной жизни, без труда примет и этот план. Гийо еще предстояло узнать, что эта женщина никогда никому не будет полностью покорна, неизменно сохраняя исключительное право

на независимые решения.

Развязку ускорила смерть отца Лу: Гийо настоял, чтобы она рассказала матери об их уроках. Смирившись с этим требованием, Лу сделала это на свой манер: с полной непосредственностью она вечером заявила матери: "Возвращаюсь от Гийо", — и ничего не пожелала добавить. Не помогли ни истерические спазмы, ни допросы матери. Все свелось, как и спланировал Гийо, к необходимости встречи родительницы и учителя. Лу, прислушивавшаяся за дверью к разговору, запомнила только две фразы:

"Вы виноваты перед моей дочерью!" — кричала мать.

"Хочу быть виновным перед этим ребенком", — отвечал Гийо.

Услышав это, Лу не почувствовала никакого женского триумфа, а лишь удовлетворение, что мать, похоже, осажена и, возможно, не станет противиться дальнейшим урокам.

Разговор, однако, закончился тем, что Гийо попросил у г-жи Саломе руки ее дочери. Такой поворот событий поверг Лу в шок…

Она пережила это как вторую богоутрату. Позднейшие признания по этому поводу напоминают шепот из-за толстых стен или неясный шум ручья.

"Конечно, меня многое оправдывало: и разница в годах, и полярность последней страсти и первого пробуждения любви, к чему прибавлялся еще и тот факт, что мой друг был женат и имел двоих детей приблизительно моих лет (последнее обстоятельство меня не смущало по той простой причине, что оно характеризовало Бога как существо, связанное со всеми существами и принадлежащее всем, хотя и без упразднения исключительности его индивидуальной связи с Лу). Но, кроме того, я была еще ребенком — тело юной девочки с Севера развивалось медленно. Следовательно тело, со своей стороны, должно было высвободить эротический импульс, который оно получило, но без того, чтобы психика взяла на себя или компенсировала это освобождение. Когда подошел решающий и непредвиденный момент, в который он предложил мне осуществить на земле высшее наслаждение жизни, я почувствовала себя совершенно не готовой. То, что я обожествляла, вдруг одним ударом покинуло мое сердце, мою душу и стало мне чуждым. Чувствовать нечто, что имело ***чистые*** *притязания, и не довольствоваться самореализацией в малости — и вдруг натолкнуться на то, что, наоборот, этой реализации угрожало и пыталось даже отклонить правый путь усилий, которые я тратила, чтобы найти себя (гарантом чего и был до сих пор Гийо); обрести себя — и лишь для того, чтобы отдать себя в рабство Другого, — все это при свете дня привело к упразднению Другого для меня".*

Был ли это глубинный страх подлинной близости? Горечь от утраты сакральной дистанции? Уже тогда возникшее предчувствие иного, совершенно особого пути? Во всяком случае сексуальная близость для будущего автора "Эротики" была вещью принципиально отклоняемой еще много лет. И хотя нестандартность ее образа жизни была чревата славой о "распущенности", на деле она отменила свое табу только после тридцати лет. Мотивы, стоящие как за первым, так и за вторым решением, остаются для исследователей весьма загадочными. И это интригует тем сильнее, что ко времени своего тридцатилетия Лу уже давно была замужем за Фридрихом Андреасом, однако их брачный договор включал непреклонное условие Лу — отказ от интимной близости. В своих воспоминаниях она сама затрудняется дать объяснение многим своим поступкам. Достоверно известно, впрочем, что к пятидесяти годам, эпохе ее наивысшего женского расцвета, Лу радикально изменила свои убеждения — свидетельством чему стала ее нашумевшая *"Эротика"*.

Напоследок пастор принял участие еще в одном судьбоносном для своей ученицы эпизоде ее жизни: Гийо помог ей получить паспорт для отъезда за границу — для человека без вероисповедания это было нелегко. Мысль оставить Россию принадлежала Лу: она желала ехать в Европу, считая себя полностью готовой к обучению там. Такой радикальный выход изобрела она для себя в этой ситуации. Сообщив о своих планах и Гийо, и матери, она, естественно, поначалу встретила сопротивление: мать ничего не хотела слышать, Гийо воспринял ее решение с болью. Но, желая сохранить себя в ее памяти, понимая бесповоротность ее намерений, а может быть в душе еще надеясь на возвращение, он дал Лу свое благословение. Когда русские власти ответили категорическим отказом выдать документы, Гийо решил сам конфирмовать девушку. Он предложил добыть сертификат о конфирмации с помощью одного из своих друзей, имевшего соответствующие полномочия в маленькой голландской деревушке Сантпорт.

"Мы оба были растроганы этой странной церемонией, на которой присутствовали окрестные крестьяне и которая происходила в одно из воскресений, в прекраснейшем из месяцев — мае. Нам нужно было сразу же после нее расстаться — то, чего я боялась как смерти. Моя мать, которая нас сопровождала туда, к счастью, не понимала ни слов священной церемонии, происходившей на голландском, ни слов конфирмации, произнесенных в конце, — почти слов о браке: "Не бойся ничего, ибо я тебя выбрал, я тебя назвал твоим именем, ты есть во мне". (Это действительно он

дал мне мое имя, потому что он не мог произнести его русский вариант — Лиола или Лолиа.)"

И над склоненной головой конфирмантки торжественно прозвучали библейские стихи, обретая в устах пастора пронзительный двойной смысл:

> Когда пойдешь через воды, я буду с тобой.
> И когда через реки, они не затопят тебя.
> И когда пойдешь сквозь огонь, он не поглотит тебя.

Лу всю жизнь будет мысленно возвращаться к этой архетипической истории своей юности, стремясь переварить этот опыт и понять себя, ведь именно в этой точке пути закладывались зерна всей ее будущности.

"Эта история позволяет мне понять любовные процессы вообще, в той мере, в какой Другой в любви — даже если он не представляет Бога, как здесь, — преувеличен почти мистическим образом, чтобы стать символом всего чудесного. Любить в полном смысле слова — быть в состоянии предельного требования по отношению к Другому. Существо, которое имело власть делать нас ***верящими и любящими****, остается в самой глубине нас нашим Господином, даже если чуть позже станет противником… Любовь похожа на упражнения в плавании с мячом: мы действуем так, как если бы Другой сам по себе был морем, которое нас несет, и непотопляемым шаром, который держит нас на плаву. Поэтому он становится для нас одновременно и настолько же драгоценным и незыблемым, как наша исконная родина, и настолько же волнующим и смущающим, как бесконечность".*

Гийо останется ее доверенным корреспондентом, к советам которого она будет прибегать в наиболее решающие моменты своей новой жизни за границей. К нему она обратится вновь в 1886 году с просьбой обвенчать ее с Карлом Фридрихом Андреасом. Смысл истории с Гийо долго не будет давать ей покоя: Лу посвятит ей главу *"Опыт любви"* в знаменитой книге воспоминаний *"Моя жизнь"*, она же послужит прообразом фабулы ее романа "Рут", который потом больше всего будет любить Рильке. Этот роман, появившийся в печати в 1895 году как четвертая книга Лу Саломе, — современная история Элоизы и Абеляра — Рут Делорм и Эрика, — которая не оканчивается так трагично. Популярность его была велика: Лу получала письма от многочисленных читателей, и даже спустя годы поклонники романа приходили к ней лично, чтобы выразить восхищение. Как сказал один из критиков, "такие повести обречены на успех". Мы же, во всяком случае, можем констатировать, что из романа мы

узнаем о таинстве ее отношений и ее переживаний больше, чем из непосредственных воспоминаний.

Однако первую художественную дань этой истории Лу отдала еще до отъезда из Петербурга. Она посвятила пастору *"Молитву к смерти":*

В день, когда я буду на ложе смерти —
Всего лишь угасшая искра, —
Ласка твоих столь любимых рук
Еще раз коснется моих волос.
Перед тем как положат в землю
То, что должно в нее возвратиться,
Оставь на моих тобою любимых губах
Еще один поцелуй.
Но не забудь: в этом столь чуждом гробу
Я лишь на вид отдыхаю,
Так как отныне в тебе моя жизнь воцарилась,
И вся я всецело в тебе.

Спустя годы Лу метафизически прокомментирует последние строки стихотворения:

"Это удвоенное единство, которое возникает лишь за счет земного исчезновения, недвусмысленно свидетельствует об аномальной трансформации, которую пережила эта любовь. Следует, между тем, отличать аномальное восприятие мною всего, что ведет к буржуазному браку со всеми его последствиями (для которого я тогда не созрела), и аномалию, связанную с полотном религиозного опыта моего детства. Именно этот опыт изначально не допускал ориентации моего поведения влюбленной на привычный исход; мое чувство, простираясь за пределы бесконечно любимой персоны, предназначалось почти религиозному символу, который этот человек представлял".

И хотя Лу воспевала смерть, факт ее отъезда привел к необъяснимому выздоровлению: раздвинувшийся жизненный горизонт удивительным образом излечил Лу от обмороков.

Становясь "тем, что она есть", Лу предоставляла право "своему близкому окружению" либо уйти с ее пути, либо соответствовать ее жизненному эксперименту. Гийо был первым из длинной череды мужчин, завороженных ее даром творить из ничего целый мир интенсивной духовной близости. Но он же был первым, кто столкнулся с неженской твердостью, с которой она требовала соблюдения в "этом мире" установленных ею законов. Лишь на таких условиях можно было сохранить туда доступ. Впрочем, у нее было врожденное чувство справедливости, и она

ожидала от ближних только тех ограничений и жертв, которые сама уже принесла. Не научившись ставить точку в своем потакании "слишком человеческому", разве посмела бы она требовать этого от других?

Молитва к жизни

Здесь,
в густо-звездной круговерти
весь
полон жизни, полон смерти
Есмь.
Рвусь
каждой мышцей, когтем каждым:
пусть
стану диким и отважным.
Пусть —
нечто сильное, живое, —
мчусь,
безудержно,
в ночь, на волю.
Мчусь.
Т. Метелл

Естественно, что, как любят друга,
Я люблю тебя, жизнь-загадка, за то,
Что ты даришь мне ликование и слезы,
Что несешь мне страданье и счастье за ним.
Быть и думать, столетьями длясь!
Сжимай же меня в своих крепких объятьях:
И если ты не можешь подарить мне счастья —
Пусть так, — мне останется твоя горечь.

Такие строчки родились у Лу, когда она, попрощавшись с родиной, жила уже в предвкушении событий и перемен, которые несла жизнь новая. Позднее она продиктует их по памяти Ницше, и он, написав музыку, под названием "Гимн жизни" (для смешанного хора с оркестром) опубликует это произведение в 1887 году, пять лет спустя после расставания с ней. Вообще известно, что Ницше оставил после себя около сорока законченных музыкальных композиций и более тридцати фрагментов, в том числе он положил на музыку пушкинское стихотворение "Метель". Что касается стихотворения Лу, у Ницше вызвала восторг его последняя строка. Позже он напишет: "Текст,

по поводу которого до сих пор существует недоразумение, принадлежит не мне: это удивительная инспирация молодой россиянки, с которой я был дружен, а именно Лу Саломе. Кому удастся проникнуть в смысл последних слов этого стихотворения, тот поймет, почему я им так восхищаюсь, отдавая ему первенство перед другими. Это великие слова: тут боль не является протестом против жизни".

Иначе отреагировал на это стихотворение Фрейд. "Нет, знаете ли! Я не согласен! — отрезал он, в сердцах ударив нотами по подлокотнику кресла, — одного только хронического насморка хватило бы, чтобы начать смотреть на это иначе…" Любая инфантильная экзальтация была не во вкусе этого человека, выражавшегося всегда с предельной сдержанностью. И он не мог одобрить "оскорбительного энтузиазма", которым злоупотребляет лишенная опыта утрат юность.

Тем не менее Лу неистово влекла жизнь, и она училась наслаждаться ею, невзирая на то, будет ли жизнь к ней благосклонна или принесет страдание. Жизнеутверждающий стоицизм не мог не будоражить ее воображения, и, вероятно, поэтому строки из "Гимна жизни", которые считала программными, она повторит также в своей первой книге *"В борьбе за Бога". "Это была жизнь, я ее любила, я ее ждала, я во всей полноте черпала ее своими руками. Но я отталкивала то, что в ней было принудительного, подавляющего, я не хотела мириться ни с какой предзаданностью и предопределенностью. Скорее, я ждала того, что резонировало бы с моим естеством, — неожиданных виражей существования…"* В свои двадцать Лу еще не умеет быть самокритичной и вряд ли понимает, что те, кто делают ей комплименты, делает их, скорее, ей самой, ее личности, чем стихотворению.

Итак, в сентябре 1880 года Лу с матерью обосновываются в Цюрихе. Благодаря помощи хороших знакомых из Петербурга, живущих в недалеком Рейхенбахе, они быстро находят здесь квартиру. Мать не скрывает своего желания быть с дочерью как можно дольше, и не только из-за беспокойства о ее легких, но куда больше из страха оставить Лу в одиночестве, следствием чего, по ее мнению, может стать новый Гийо. Наиболее приемлем для нее вариант замужества дочери, но об этом Лу не хочет и слышать — она исполнена жажды абсолютной свободы и познаний.

А Цюрих того времени, не менее Парижа и Вены претендуя на роль столицы наук и искусств, был, помимо прочего, отмечен особым привкусом свободомыслия. Французские атеисты, итальянские анархисты, русские нигилисты и социалисты

чувствовали здесь себя вольготно и создавали группировки, своими акциями беспокоя консервативное население. Постепенно они изменили интеллектуальный климат города: хотя их присутствие и деятельность не вызывали всеобщей симпатии, они привели к тому, что границы толерантности расширились и город приобрел репутацию либерального.

Вскоре по прибытии в Цюрих обе женщины стали свидетелями большой студенческой демонстрации, проводимой в поддержку убийства царя Александра II. Мать не позволила дочери принять в ней участие, хотя сама была не на шутку заворожена происходящим: *"Вероятно, нечто революционное могло быть не совсем чуждо моей матери. Она была не только по-настоящему мужественной, ей в принципе нравилось скорее доводить ссоры до конца, чем улаживать их. Потом, во время предреволюционного периода 1905 года, она, невзирая на свой возраст, с трудом удерживала себя от того, чтобы не выходить на взволнованные улицы, где постоянно слышалась стрельба, от которой обе ее домашние прислуги — робкие девочки — отмахивались обеими руками…"*

Лу была отнюдь не робкого десятка, но, к удивлению матери, никак не опротестовала ее запрет на участие в демонстрации. Она, молившая жизнь о "бурях", вдруг обнаружила, что бури политические не задевают ее за живое. Между мотивами, подтолкнувшими ее к учебе за границей, и причинами, подвигшими на это ее соотечественниц, лежала целая пропасть.

"Во время моей учебы в Цюрихе, в начале которой убийство Александра II нигилистами праздновалось русскими студентами факельными шествиями и с буйной экзальтацией, я едва ли могла вовлечь моих сокурсниц в обсуждение чего-либо иного. Скоро я поняла, что свою учебу они использовали преимущественно как политическое прикрытие их пребывания за границей. Не для конкуренции с мужчиной и его правами, а также не из научного честолюбия, ради собственного профессионального развития они учились, а только лишь для одной цели: чтобы получить возможность идти в русский народ, страдающий, угнетенный и неграмотный, которому эти знания должны помочь. Потоки врачей, акушерок, учительниц, попечительниц любого вида… непрерывно устремлялись из аудиторий и академий в самые дальние, глухие сельские местности, в оставляемые деревни; женщины, которые по политическим мотивам в течение всей жизни находились под угрозой арестов, ссылок, смерти, полностью отдавались тому, что просто соответствовало их самому сильному и самому дорогому порыву".

Как видно, сама по себе революционная деятельность

вызывала в Лу пиетет довольно отстраненный, но вот не подпасть под обаяние незаурядной и цельной личности было труднее.

"Так и осталась единственным знаком моего участия в политике спрятанная в моем письменном столе фотография Веры Засулич, стоящей, так сказать, у истоков русского терроризма, которая застрелила градоначальника Трепова и после оправдания присяжными была вынесена из зала суда на плечах ликующей толпы; она эмигрировала в Женеву и живет, возможно, еще и сегодня".

И все же то, что происходило вокруг, бросало Лу интеллектуальный вызов — понять истоки самого феномена революционности как характерной национальной особенности.

"Многое в отношении русской революционности выяснилось для меня лишь гораздо позже, во время моего третьего пребывания в Париже в 1910 году, когда я благодаря симпатии сестры одной террористки получила доступ в их круг. Это было в тот период, когда разразилась трагедия Азефа и этот самый необъяснимый и самый монстроподобный из всех двойных шпионов, уличенный Бурцевым в предательстве, оставил после себя безымянное отчаяние. Я вдруг отчетливо поняла, что увеличивавшаяся в своем количестве армия революционеров, которые бестрепетно жертвовали частной жизнью во имя веры в свою убийственную миссию, не составляла никакого контраста по отношению к отличавшейся тотальной пассивностью ее верований крестьянской массе, которая свою судьбу принимала как определенную Богом. Усердие в вере характерно именно тем, что, с одной стороны, чревато смирением, а с другой — апокалиптическим действием. Но обе линии существования — и революционная, и крестьянская — проходят под знаком отрицания какого-либо значения личности, и именно из этого источника и крестьянское мученичество, и террористическое мучительство черпают свою утешительную терпеливость и свою стремительную силу возмездия".

Среди профессоров Лу нашла Алоиса Бидермана, который стал ее наиболее расположенным другом и попечителем. Она слушала у него лекции по догматике и всеобщей истории религии, явственно настоянные на философии — Бидерман был гегельянцем. Их дружба началась с того, что профессор устроил для юной "самоучки" вступительный экзамен, который спонтанно перерос во многочасовую беседу. В итоге Лу принесла домой основной труд ученого-теолога, "Христианская догматика", с посвящением автора, в котором говорилось об их сердечной и неожиданной, вопреки привычным законам почти "похитительски" вспыхнувшей дружбе. Это посвящение напоминает цитату из первого послания коринфянам: "Дух

проникает всюду, даже в глубины самого Бога".

Бидерман был старше Лу на сорок три года, и во время учебы и позже она называла его своим *"главным профессором"*. Лу не была склонна к преувеличениям: тот пласт проблем, который она проработала с ним, действительно в известном смысле станет камертоном всех ее дальнейших исследований. Тайна происхождения религиозной символики и религиозного чувства — тот мотив, который пронизывает и ее понимание поэзии, и ее анализ театрального действа, и ее работы по психоанализу, не говоря уже о том, что именно на этом нерве построена вся ее *"Эротика"*. Сам Бидерман не ожидал от нее такого постоянства, видя пластичность ее вхождения в любую интеллектуальную среду. Быть может, поэтому он выражал недовольство ее отъездом в Италию, когда Лу с присущей ей твердостью решила покинуть Цюрих. "Римский климат для нее небезопасен", — говорил Бидерман ее матери, но, видимо, в глубине души он больше опасался интеллектуального климата Италии, которая славилась отнюдь не академичностью Цюриха. Опасения его подтвердились. Вскоре и до Швейцарии дошли слухи о событии, наделавшем достаточно шума во всей Европе, — об экстравагантном союзе его ученицы с Ницше и Рэ. О попытках Бидермана успокоить мать Лу, а заодно и самого себя, мы можем узнать, например, из адресованного фрау Саломе письма от 3 июня 1883 года, где есть характерный портрет Лу, набросанный его пером: "Она — женское существо очень необычного рода. Несмотря на детскую чистоту и искренность, у нее одновременно недетская, почти лишенная женских черт зрелость духа и самостоятельность воли. Это редкостное сочетание: в этом смысле она настоящий бриллиант. С опаской употребляю это слово, ибо оно звучит как комплимент. А комплиментов я не имею обыкновения делать никому из тех, кого уважаю, тем более девушке, чей успех является моим искренним желанием и в отношении которой комплимент для меня равносилен греху. Одним словом, я сравниваю с бриллиантом всю внутреннюю природу Луизы".

Задержимся на этом образе: его неоднозначность не сразу бросается в глаза. Волшебство бриллианта — в его сияющей "отзывчивости" на каждый луч света, коснувшийся его поверхности. То же самое происходило с лучами духовного света, направленными собеседником на Лу. Каждый посыл возвращался удесятеренным снопом почти режущего глаз сияния. Но эту неправдоподобную ослепительность бриллиант искупает своей невидимостью в темноте. В отсутствие источника света он просто перестает существовать. Осознавала ли Лу эту опасность? Свою зависимость от чужого света? Зависимость, которая будет длиться

до тех пор, пока она не откроет в себе внутренний источник света.

В том же письме Бидерман делится с фрау Саломе опасением, что дочь ее живет в интеллектуальной атмосфере мужчин, которые незнакомы ему лично, но, по его мнению, очень чужды ее духовной природе, — настолько чужды, что их влияние на нее должно бы его беспокоить. И все же достаточно было Лу прийти по его приглашению (хотя и с многомесячным опозданием), чтобы беседа с ней развеяла опасения относительно ее внушаемости или подверженности чуждым влияниям. Профессор был вновь очарован ее "необыкновеной духовной энергией", обрадован "твердостью намерений и самостоятельностью духа".

Противоречивые же настроения самой Лу, наконец эмансипировавшейся от всякой опеки и стоящей на пороге рискованных приключений духа, пожалуй, точнее всего можно было бы передать поэтическим парафразом Франсуа Вийона:

Утрачивая, обретаю.
Владею тем, что потерял.
Уверен в том, чего не знаю.
В давно известном сомневаюсь.
Чего не совершал, в том каюсь.
Не каюсь в том, что совершал.
Т. Метелл

Так говорила Заратустра

Ты — абсолютный слог,
я — абсолютный слух.
Торгуя клубками дорог,
Хирон не распродал двух.
М. Кискевич

"Она — воплощенная философия Ницше", — говорили современники. "Как искусно она использует максимы Фрица, чтобы связать ему руки! Надо отдать ей должное — она действительно ходячая философия моего брата", — с досадой признавала ненавидевшая ее Элизабет Ферстер-Ницше.

Исследователи предполагают, что именно Лу была прообразом Заратустры. Если это так, то не значит ли это, что именно двадцатилетняя Лу оказалась тем идеалом "совершенного друга", о котором всю жизнь мечтал Ницше, — того, кто исполнен бесстрашия всегда быть собой и стремления стать "тем, что он есть". Сам Ницше после мучительного разрыва с ней говорил, что Лу — это "воплощение совершенного зла". Кто знает? Ведь в некоторых головах уже мелькала мысль, что наиболее тонким воплощением идеи Люцифера могла бы стать абсолютно духовная женщина — полностью освободившаяся от всяких проявлений женской душевности…

Как бы то ни было, после разрыва, на вершине отчаяния, всего за десять дней Ницше создает первую часть "Так говорил Заратустра", рожденную, по словам его давнего друга Петера Гаста, "из его иллюзий о Лу… И именно Лу вознесла его на гималайскую высоту чувства".

Сам Ницше писал, что "вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость", чем между ним и Лу.

Они встретились под апрельским небом вечного города в 1882 году. Фрау Саломе привезла дочь в Рим, не столько следуя программе ее интеллектуальных исканий, сколько для поправки ее здоровья. У Лу, как помнит читатель, были слабые легкие, и любое нервное потрясение вызывало у нее легочное кровотечение. Последним таким потрясением, всерьез напугавшим близких, была, естественно, история с пастором Гийо, сопровождавшаяся ссорой с матерью и отказом от конфирмации.

Судьбоносное знакомство произошло с легкой руки

Мальвиды фон Мейзенбух. Это была женщина редкой доброты, гений филантропии, неустанный поборник освобождения женщин и близкий друг Герцена. Она была его многолетним корреспондентом, воспитывала его дочь Наталью и подолгу жила в его доме в Лондоне. Герцену она казалась "необыкновенно умной, очень образованной и… пребезобразной собой".

В Ницше эта убежденная идеалистка принимала неустанное участие; так же деятельно она любила его лучшего друга той поры философа Пауля Рэ. К описываемому моменту возраст этой дружбы перевалил уже за восьмилетний рубеж, и такой отшельник, как Ницше, сознавался, что "изнемогает от досады", когда не может "десять раз на дню" обсуждать с Рэ "судьбы человечества". Друзья совместно вынашивали идею "светского монастыря" — некоего духовного цетра, который бы собрал и сблизил лучшие европейские умы. Среди романтической природы Сорренто Ницше и Рэ облюбовали уголки и гроты, где учителя и их воспитанники могли бы, по примеру перипатетиков, вести свои ученые беседы. M-lle Мейзенбух была воодушевлена этим планом не меньше друзей и предложила рассматривать свой салон как временный филиал монастыря.

"Эта идея нашла самый горячий отклик среди собеседников, — писала Мальвида в своих "Воспоминаниях идеалистки", — Ницше и Рэ готовы были тотчас принять участие в качестве лекторов. Я была убеждена, что можно привлечь многих учениц, которым я хотела посвятить свои особые заботы, чтобы сделать из них благороднейших защитниц эмансипации женщин".

Очевидно, одну из таких будущих учениц она и увидела в Лу, представленную ей посредством рекомендательного письма шестидесятишестилетнего цюрихского профессора Готфрида Кинкеля, историка и археолога, фрондерская репутация которого роднила его с Мальвидой, известной в свое время активисткой социалистических фаланстер в Гамбурге. "Опасный смутьян" Кинкель принимал в Лу не меньшее участие, чем академичный Бидерман, но в отличие от последнего полагал необходимым устроить для Лу "римские каникулы". Он несколько преувеличивал опасность ее болезни, но драматизм его формулировки обеспечил Лу кратчайший путь к сердцу Мальвиды. Можно ли было остаться равнодушной к судьбе "девушки, которая так любит жизнь, будучи столь близка к смерти"? Любопытно, что первым впечатлением Ницше о Лу тоже было опасение в "недолговечности этого ребенка". Быть может, сочетание ее возвышенности с ее хрупкостью порождало обманчивый образ почти библейского "немощнейшего сосуда, наполненного благодатью"?

Тем временем происходящее в салоне Мальвиды, напротив, пробуждает в Лу мощный витальный всплеск. Она подробно описывает свою стремительно вспыхнувшую дружбу с позитивистом и дарвинистом Рэ, который в своих книгах доказывал сводимость этических принципов к практической пользе и рациональности, но на деле был добрейшим, страстным и совершенно непрактичным человеком. Хотя большинство посетителей салона, как и сама хозяйка, были ярыми вагнерианцами (как, например, Эдуард Шюре, впоследствии автор известной книги "Великие посвященные"), Пауль Рэ, невзирая на совершенно иные убеждения, всегда пользовался здесь кредитом гостеприимства. Этот скептик неизменно носил с собой в кармане, как со смехом обнаружила Лу, томик Монтеня или Ларошфуко. Экстраординарные обстоятельства их знакомства Лу воспроизвела в юмористических тонах. Пауль, запыхавшийся и смущенный, влетел в салон Мальвиды с мольбой о спасении: он вновь проигрался до последнего су. В свое время именно Лу найдет способ обуздать в нем азарт игрока. Сейчас же, наблюдая за хлопотами безотказной Мальвиды, она поймала себя на том, что сразу почувствовала в незнакомце родственную душу. Проводы до пансионата, где Лу жила вместе с матерью, затянулись до двух часов ночи: собеседники по очереди изобретали уловки продлить наслаждение разговором. Известие об этом эпизоде привело Мальвиду в священный ужас: ночные прогулки, сокрушалась она, неизбежно закончатся дуэлью Рэ с каким-нибудь задирой. Лу, смеясь, возражала, что философские принципы Рэ не позволят ему драться на дуэли. Впрочем, любые аргументы уже, разумеется, не могли отменить быстро ставших традицией философских бдений под звездным небом Рима. Очарованный Рэ, хотя и считал женитьбу и деторождение философски нерациональным занятием (о чем и написал ряд этических трудов), стремительно сделал Лу предложение.

На этот раз она пошла дальше, чем с Гийо. Предложение Пауля она отклонила бесповоротно, но взамен представила весьма неординарный план: в награду за готовность к риску Рэ получал возможность не только общаться с ней, но даже жить вместе. Общественное мнение ее не волновало. Нарушив принципы своей моральной философии, Рэ принял это предложение. Излишне говорить о том, какую реакцию вызвала идея у окружающих. Даже Мальвида, смело экспериментировавшая в своем салоне над созданием новых "благородных" отношений между полами, считала проект Лу чересчур эпатирующим.

Единственным человеком, у которого Лу и Рэ вызвали не

только полное одобрение, но и веселую решимость примкнуть третьим к коалиции, оказался Ницше.

Вообще-то на уме у доброй Мальвиды были матримониальные планы. Она давно мечтала найти для Ницше подходящую жену. Она не могла без горечи видеть, как нарастает его внешнее и внутреннее одиночество. С тридцатилетнего возраста этот человек был заложником невыносимых головных болей, из-за которых он стремительно терял зрение. Диагноз этой странной болезни до сих пор остается предметом споров врачей и биографов. У Цвейга есть новелла о Ницше, где он с удивительной пронзительностью воссоздает образ этого человека-"барометра", реагирующего на малейшее колебание атмосферного давления, — образ мыслителя, вся жизнь которого была бесконечным побегом от страдания в поисках хоть сколько-нибудь щадящего уголка на этой земле. Его прославленный афористический стиль на деле был "изобретением поневоле": Ницше старался писать в промежутках между приступами. У такого человека были основания сказать: "Что не убивает меня, то делает меня сильнее". "Amor fati" было его магическим заклинанием от болезни.

Могло ли не взволновать Лу такое мужество и такой стоицизм? "Это очень суровый философ, — говорила ей Мальвида, — но это самый нежный, самый преданный друг, и для всякого, кто его знает, мысль о его одиночестве вызывает самую острую тоску". Лу захотела познакомиться с Ницше. Нетрудно догадаться, что Лу не вкладывала в это стремление желания "разделить судьбу". Пауль Рэ, дразня своего друга, писал ему, что "молодая русская" была страшно расстроена тем, что он так неожиданно улизнул из Мессины, улизнул прежде, чем она смогла добраться туда, чтобы познакомиться с ним. Ницше не устоял: "Передайте от меня привет этой русской девочке, если видите в этом смысл: меня всегда влекут подобные души, хотя они будят во мне инстинкт похитителя… Нуждаюсь в таких душах перед лицом той задачи, которую намерен осуществить в следующие десять лет. Совсем иное дело женитьба: мог бы согласиться на брак года на два, и это также в силу того, что намереваюсь сделать в течение десять лет". Осталось неизвестным, делился ли Ницше с Лу столь специфическими матримониальными планами, — вероятно, он немало развеселил бы ее. Можно лишь с достоверностью утверждать, что вскоре его установки относительно женщин и брака претерпели изрядную трансформацию.

В ожидании Ницше Лу и Рэ блуждали по Риму. В одной из боковых часовен базилики Св. Петра Рэ обнаружил заброшенную

исповедальню, в которой начал просиживать, работая над своей новой книгой, призванной вскрыть земные корни всякой религии. Лу весьма развеселила такая выходка, и в этой же исповедальне, сидя рядом с Рэ, молодая вольтерьянка помогала ему в подборе аргументов. Здесь же они впервые встретились с Ницше. Лу сразу покорила его. "Вот душа, которая будто одним дуновением создала для своего обитания это хрупкое тело", — с задумчивой улыбкой поделился он впечатлением от этой встречи. За долгие месяцы уединенных размышлений Ницше совсем отвык от удовольствия говорить и быть выслушанным. В "молодой русской" он обнаружил изумительный дар слушать и слышать. Она говорила мало, но ее спокойный взгляд, мягкие уверенные движения, любое произнесенное ею слово не оставляли сомнений в ее восприимчивости и глубине. Ее же потрясла пылкость ницшевской мысли: Лу даже потеряла сон.

Ницше читал Лу и Рэ только что законченную "Веселую науку" — самую жизнерадостную свою книгу, предвещающую приближение Сверхчеловека. Человек со всей его "слишком человечной" "человечиной" больше не способен удовлетворить Ницше. "Иной идеал влечет нас к себе — чудесный, искушающий, губительный, чреватый опасностями идеал…" — читал Ницше, внезапно переводя внимательный взгляд на Лу. Осуществляла ли она ницшевский миф на практике? Во всяком случае, встреча именно с таким воплощением своего мифа заставила Ницше мобилизовать весь потенциал своего стиля. Так родился безупречнейший стилист среди философов, первым поставивший проблему поиска "Большого стиля" как жизненной стратегии мудреца.

Воодушевленная им, Лу и сама начинает делать пробы в обретении стиля. В знак духовной симпатии она посвящает Ницше поэму "К скорби":

> Кто же, охваченный тобою и чувствуя твой суровый взгляд,
> Обращенный на себя, мог бежать?
> Я погибну, если ты завладеешь мною,
> Я верю, что ты способна только разрушать;
> Я знаю, ты должна посетить все живущее на земле;
> Никто не может избегнуть твоего прихода;
> Жизнь без тебя была бы прекрасной,
> Но и ты стоишь того, чтобы существовать.

Петер Гаст, прочитав эти строки, решил, что их написал Ницше. Эта ошибка обрадовала Фридриха. "Нет, — писал он

своему другу, — эти стихи принадлежат не мне. Они производят на меня прямо-таки подавляющее впечатление, и я не могу читать их без слез; в них слышатся звуки голоса, который звучит в моих ушах давно, давно, с самого раннего детства. Стихи эти написала Лу, мой новый друг, о котором вы еще ничего не слыхали; она дочь русского генерала; ей двадцать лет, она резкая как орел, сильная как львица, и при этом очень женственный ребенок… Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления… Кроме того, у нее невероятно твердый характер и она точно знает, чего хочет, — не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении".

Со всей присущей ей одержимостью и энергией Лу хотела построить маленькую интеллектуальную коммуну, философскую "Святую Троицу". Ее искренне изумил тот единодушно отрицательный прием, с которым был всеми встречен этот замысел. Особенно обидными ей показались сомнения и недоверие Гийо: его поддержка представлялась ей столь очевидной, а его мнение действительно было для нее важнее всех прочих:

"…Какой же, черт побери, я совершила промах? — по-детски сердилась она в очередном письме. — *Я ведь думала, что именно теперь-то Вы осыплете меня похвалами. Ведь именно сейчас я в состоянии доказать, насколько хорошо я усвоила в свое время Ваши уроки. Во-первых, потому, что я ничуть не тешусь фантазией, но собираюсь осуществить ее, а во-вторых, потому, что осуществится она с помощью людей, которые словно Вами самим и выбраны, — им впору лопнуть от исключительной духовности и остроты ума…* — И несколько дальше: — *То, что мне нужно от Вас, невообразимо больше, чем совет, — мне нужно доверие…"*

Разочарованная в своих попытках встретить одобрение, Лу твердо решила, что ничьи советы не заставят ее отступиться от их чудесного замысла. Нашей героине к тому времени едва исполнился двадцать один год, Рэ было тридцать два, Ницше — тридцать восемь.

До сих пор все мужчины в жизни Лу проходили через своеобразную "конфирмацию" — получение отказа от сделанного ей брачного предложения. Таково, очевидно, было "причащение" к ее религии "свободных духом". Подобная участь ожидала и Ницше. Восьмого мая (не прошло и месяца со дня знакомства!) он уполномочивает Рэ поговорить с Лу от его имени. Матери Лу в Санкт-Петербург было направлено письмо с официальным предложением. Пребывая в лихорадочном возбуждении, Ницше пытается размышлять над устранением главной, по его мнению, помехи: его бедности. Может быть, окажется возможным целиком

за значительную сумму продать какому-нибудь издателю все свои будущие сочинения?

В *"Опыте дружбы"* Лу перечисляет все аргументы, к которым она прибегла, чтобы максимально смягчить свой отказ и сохранить в силе главное — их дружбу и сам проект жизни втроем.

Как же рассчитывали они превратить столь эксцентричную духовную конструкцию в повседневную действительность? Вполне ли отдавали себе отчет в том, сколько провокаций для игры чувствами таит в себе подобный замысел? С упрямым романтизмом они уповали на то, что все житейские недоразумения задыхаются "на высоте шесть тысяч футов над уровнем человека", где они собирались существовать.

И все же чреватость этого плана катастрофой была очевидна. Мальвида писала Лу: "…И в конце концов это триединство! Несмотря на то что я вполне убеждена в Вашей нейтральности, опыт моей долгой жизни, равно как и знание человеческой натуры позволяют мне утверждать, что так это не может длиться долго, что в самом лучшем случае серьезно пострадает сердце, а в худшем дружеский союз будет разрушен… — естество не дает себя одурачить, а связи существуют только в той мере, в которой мы их осознаем. Однако если Вы, вопреки всему, это сделаете, я не усомнюсь в Вас, я лишь хотела бы уберечь Вас от той почти неизбежной боли, которую Вы уже раз испытали".

Это письмо написано 6 июня 1882 года, в то время, когда, несмотря на все пересуды, участники "коммуны" как раз были поглощены выбором места проживания: поочередно обсуждались и отклонялись Вена, Цеплице в Нижней Силезии, Берлин, и наконец, после долгих обсуждений, был выбран Париж.

Могло ли поколебать Лу это письмо? Мальвида апеллировала к ее здравому смыслу, человечности и их общей ответственности за репутацию феминизма в Италии, который мог быть скомпрометирован чересчур дерзким экспериментом Лу. В отношении последнего пункта Мальвида обольщалась. Лу не испытывала ни малейших обязательств перед судьбой феминизма. Она не стала феминисткой в Италии, как не была революционеркой в России. Неисправимая упрямица и индивидуалистка, она неизменно шла своим собственным путем. И по этому пути она двигалась уверенно и слепо, как сомнамбула, ведомая своим обостренным интеллектуальным любопытством и незаурядной женской интуицией. К тому же 7 июня развеяло все сомнения. В этот день она получила письмо от Ницше: "В настоящий момент я считаю необходимым, чтобы мы сохраняли молчание в присутствии даже самых близких: никто, ни m-me Рэ

(мать Пауля. — Л. Г.) в Цеплице, ни m-lle фон Мейзенбух в Байрейте, ни моя семья не должны ломать себе голов и сердец над этими вещами, до которых только мы, мы, мы доросли и с которыми справимся, для других же они могут лишь остаться опасными фантазиями". Через два дня он пишет Лу новое письмо: "Люблю жизнь "в укрытии", огражденную от посторонних взглядов, и желаю всем сердцем, чтобы Вас, как и меня, миновали европейские пересуды. Тем более что я связываю с нашей совместной жизнью такие высокие надежды, что любые закономерные или непредвиденные побочные следствия в настоящее время меня мало занимают, и то, что произойдет, мы будем готовить вместе, и весь этот мешок возможных огорчений мы каждый вечер вместе будем вытряхивать на дно, не правда ли?"

Наконец Мальвида сдается: "Ничем более не могу дополнить Ваш план, совершенство которого вполне признаю, а привлекательность понимаю. Вы выбираете свою судьбу, и надо ее наполнить, чтобы она Вам что-нибудь принесла".

Совершенный друг и абсолютное зло Фридриха Ницше

Скользили по граниту откровений
чужие, невозможные цветы.
И. Лепшин

Любовь — единственное лекарство от смерти,
поскольку она ей сродни.
М. Де Унамуно

Что же принесла всем троим попытка осуществить свою мечту, одновременно такую невозможную и такую богатую всеми возможностями? Ставки были высоки: на кону стояли самые значимые для каждого из них вещи — Дружба и Истина. После того как надежды на любовь и матримониальные планы по воле Лу были выброшены за борт их трехмачтового судна, над ним был поднят новый священный флаг — знамя Идеальной Дружбы. Они должны были доказать самим себе, друг другу и миру, что таковая существует. Впрочем, в XX веке Николай Бердяев проницательно заметит, что в основе любой подлинной дружбы лежит мощное эротическое напряжение.

Лу, которая никогда сознательно не использовала в своем поведении ни женских козырей, ни какого-либо дамского оружия, любила повторять за Титом Ливием: *"Дружеские связи должны быть бессмертными, не дружеские — смертными"*.. Ницше в письме к Мальвиде со своей стороны подтверждал: "В настоящее время эта девушка связана со мной крепкой дружбой (такой крепкой, какую можно создать на этой земле); долгое время у меня не было лучшего завоевания…" Не менее экспрессивно он высказался и в письме к Петеру Гасту: "Дорогой друг, для нас, безусловно, будет честью, если Вы не назовете наши отношения романом. Мы с нею — пара друзей, и эту девушку, равно как и это доверие я считаю вещами святыми".

Ницше утверждал, что у "всякого имеется свой духовный гранит фатума". Парадоксально, но именно мистерия дружбы роковым образом постоянно проигрывалась в судьбе Ницше. Как некий загадочный и настойчивый лейтмотив скользит она над волной всех его жизненных перипетий.

Похоже, он сам догадывался о неком тайном предначертании: дружба будет для него полем самых невероятных завоеваний и самых непереносимых утрат. Однажды, когда Ницше высказал свое отвращение к романам с их однообразной любовной интригой, кто-то спросил, какое же другое чувство могло бы захватить его. "Дружба, — живо ответил Ницше. — Она разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере. Сначала взаимное влечение, основанное на общих убеждениях; за ним следуют взаимное восхищение и прославление; потом, с одной стороны, возникает недоверие, а с другой — сомнение в превосходстве своего друга и его идей; можно быть уверенным, что разрыв неизбежен и что он принесет немало страданий. Все человеческие страдания присущи дружбе, в ней есть даже такие, которым нет названия".

Все это он пережил с Рихардом Вагнером. Их дружба носила какой-то сверхчеловеческий характер: большинство людей просто не подозревают, что с дружбой можно связывать столько упований, потому они застрахованы от бездн отчаяния, связанного с их крахом. "Такое прощание, когда люди расстаются потому, что по-разному думают и чувствуют, невольно нас опять как бы сближает, и мы изо всей силы ударяемся о ту стену, которую воздвигла между нами природа".

Когда три года спустя после разрыва с Вагнером мистерия дружбы вновь разыграется с Лу, Ницше поймет, что терять друзей из-за чрезмерного сходства душ не менее тяжело, чем из-за их разности. Уже в августе 1882 го-да Лу напишет Рэ: *"Разговаривать с Ницше, как ты знаешь, очень интересно. Есть особая прелесть в том, что ты встречаешь сходные идеи, чувства и мысли. Мы понимаем друг друга полностью. Однажды он сказал мне с изумлением: "Я думаю, единственная разница между нами — в возрасте. Мы живем одинаково и думаем одинаково". Только потому, что мы такие одинаковые, он так бурно реагирует на различия между нами — или на то, что кажется ему различиями. Вот почему он выглядит таким расстроенным. Если два человека такие разные, как ты и я, — они довольны уже тем, что нашли точку соприкосновения. Но когда они такие одинаковые, как Ницше и я, они страдают от своих различий"*.

Ницше хотелось верить в то, что на сей раз все пойдет по иному сценарию: "Вокруг меня сейчас утренняя заря, но не в печатной форме! Я никогда не верил, что найду друга моего последнего счастья и страдания. Теперь это стало возможным — как золотистая возможность на горизонте всей моей будущей жизни. Я растроган, думая о смелой и богатой предчувствиями душе моей возлюбленной Лу".

В Люцерне, всего несколько дней спустя после первой встречи с Лу, Ницше показывал ей тот дом в Трибшене, где он познакомился с Вагнером, рассказывал о незабвенных днях веселого настроения Рихарда и припадках его величественного гнева. Подойдя к озеру и показывая Лу тополя, своими верхушками закрывавшие фасад дома, Ницше стал говорить вполголоса, стараясь скрыть от нее свое лицо, потом внезапно замолчал, и Лу, не спускавшая с него глаз, заметила, что он плакал.

Меньше месяца спустя Ницше набрался храбрости сделать Лу предложение, на этот раз лично, а не через посредничество Пауля Рэ. Лу повторила свой отказ и свое предложение дружбы. Ницше принял предложение Лу и установленные ею границы их отношений. Со своей стороны он выдвинул единственное условие: "Прочтите эту книгу, — сказал он, протягивая ей свою работу "Шопенгауэр как воспитатель", — и тогда вы будете меня слушать". Могла ли Лу с ее всезатмевающей жадностью к познанию не попытаться выслушать человека, утверждавшего: "Я вобрал в себя всю историю Европы — за мной ответный удар".

Во время поездки в Байрейт (на ежегодный Вагнеровский фестиваль) Лу обретет непримиримого врага на всю жизнь — сестру Ницше Элизабет. Сам Ницше наотрез отказался приехать на премьеру, препоручив Лу быть там его глазами и ушами (хотя в отношении последних, как честно призналась Лу, не обошлось без пресловутого медведя). "Что касается Байрейта, — пишет Ницше Лу 20 июля, — я доволен, что не должен быть там; но все же, если бы я мог, как призрак, оказаться рядом с Вами, то и се нашептывая на Ваше ушко, может быть, и музыка к "Парсифалю" оказалась бы для меня сносной (вне этого она для меня несносна)". Элизабет встречала Лу в Лейпциге, откуда они должны были вместе отправиться в Байрейт. Лу, с присущей ее характеру некоторой наивностью, поначалу верила притворной доброжелательности Элизабет и, не сознавая ее интриг, писала Ницше: *"Ваша сестра, которая в настоящий момент является почти что и моей сестрой, расскажет Вам обо всем, что здесь происходит"*.

Та действительно рассказала, но далеко не в тех тонах, которые ожидала Лу. Элизабет привела в ярость снятая в Люцерне фотография, изображавшая всю троицу на фоне Альп: Ницше и Рэ стоят, запряженные в двуколку, в которой сидит Лу, помахивая кнутиком. Хотя, как пишет Саломе в *"Опыте дружбы"*, и идея композиции, и даже выбор фотографа принадлежали Ницше, Элизабет расценила это как безусловную инициативу Лу, призванную продемонстрировать ее верховную власть над двумя

философами. (Любопытную инверсию претерпит идея этой фотографии в дальнейшем творчестве Ницше: не пройдет и года после мучительного разрыва с Лу, как Ницше напишет свое знаменитое: "Ты идешь к женщине? Не забудь плетку!")

Не меньшую озлобленность, чем фотография, у Элизабет вызвали ухаживания за Лу известного художника Павла Жуковского, сына знаменитого русского поэта, за которым ходила слава дамского угодника и который на глазах у всех предлагал Лу всевозможные дизайнерские решения относительно ее нарядов, премьерных и будничных, и даже смоделировал прямо по ее фигуре платье.

Словом, Элизабет быстро квалифицировала Лу как вампира и хищницу, которую следует раздавить любой ценой. Понятно, что за подобной характеристикой стояла в первую очередь ревность к этой странной русской девушке, обладавшей таким таинственным обаянием. Впрочем, эта ее русскость, как и еврейство Рэ, вызывали в Элизабет лишь непримиримую агрессию. Элизабет была старше Лу на пятнадцать лет, однако до сих пор продолжала ходить в старых девах и отличалась типично бюргерскими взглядами пасторской дочери из провинциального городка. В 1885 году Элизабет, к ужасу Ницше, вышла замуж за немецкого национал-активиста Ферстера и уехала за ним в Парагвай строить там "новую Германию". Унаследовав после смерти брата его рукописи, она умудрилась организовать в ноябре 1935 года посещение ницшевского архива в Веймаре Гитлером и подарила ему на память о визите ницшевскую трость. Фюрер пожелал увековечить момент, сфотографировавшись с этим трофеем на фоне бюста философа. Изданная Элизабет под названием "Воля к власти" компиляция незавершенных ницшевских рукописей полностью развенчана историками. В тридцатые годы она попыталась свести счеты с Лу, натравливая на нее нацистов, обвиняя в извращении идей Ницше. Излишне говорить, насколько все это "ферстер-ницшеанство" не имеет никакого отношения к самому автору "Заратустры".

Ницше с горечью признавался Мальвиде: "Между мной и мстительной антисемитской гусыней не может быть примирения. Позже, гораздо позже она поймет, как много зла она принесла мне в самый решающий период моей жизни…"

Но болезнь Ницше и его житейская неприспособленность делали его зависимым от Элизабет, питавшей к нему тираническую любовь, не ведающую деликатного невмешательства. В этом смысле положение Рэ было много лучше. Ему достаточно легко и быстро удалось убедить свою семью, что Лу — его наилучший друг в том, что касается духа и

образа жизни, и он мог свободно предлагать Лу жить в его имении, гарантируя ей опеку своей семьи и защиту от необходимости возвращения с матерью в Санкт-Петербург. Ницше же приходилось действовать крайне осмотрительно, с многочисленными оговорками и недомолвками. Вообще, из всех троих Ницше был наиболее обременен условностями — и внутренне, и внешне. Он настолько опасался агрессии и ревнивых козней сестры, что, впервые сообщая ей о Лу, прибавлял к ее возрасту четыре года, многократно ссылался на рекомендации Мейзенбух и представлял ее как своего будущего научного ассистента.

И могла ли Лу особо воодушевить такая осторожность, если неделю назад она читала решительные заверения Пауля: "Я хороший рулевой, и Ты пройдешь между всеми трудностями легко и без обиды, нанесенной кому бы то ни было… А следовательно, моя любимая-любимая Лу (Рэ всегда так писал ее имя. — Л. Г.), будь уверена, что Ты — единственный человек в мире, которого я люблю, и не думай при этом, что это не о многом говорит, поскольку, быть может, я переношу на Тебя всю любовь, которая есть во мне для других людей".

И снова Ницше: "Такие отшельники, как я, должны не спеша привыкать к людям, которые им дороже всего: будьте же ко мне снисходительны в этом смысле!"

Пауль называет Лу своей "любимой улиткой", а себя — "ее маленьким домом". Он подписывается "Твой братец Рэ", и действительно, к тому времени он уже занял в ее новой жизни место ее прежнего дома, наполненного братьями.

Ницшеведы (например, Рудольф Бинион в своей книге "Фрау Лу — своенравная ученица Ницше") недоумевают, почему самым значимым для себя человеком Лу всегда называла Рэ. Именно его утрату она считала самой болезненной в своей жизни, а пять прожитых с ним лет — самым полным воплощением своей мечты. Забавный предрассудок: ставить качество человеческих отношений в прямую зависимость от исторического масштаба личности… Тем не менее разве не сам Ницше предупреждал ее: "В любом случае Рэ — лучший друг, чем я есть и смогу быть; прошу Вас обратить внимание на эту разницу!"?

Почему же при всем своем культе Дружбы они не сумели стать друг для друга "совершенными друзьями"? Ведь работа у Троицы спорилась: они действительно много читали, обсуждали, писали. Под руководством Ницше Лу делает очерк о метафизике женского начала, пробует писать афоризмы. Многие ее идеи он, не колеблясь, называет гениальными. Часто они проводят с ней ночи напролет. *"Я никогда не забуду тех часов, когда он открывал*

мне свои мысли; он поверял мне их, как если бы это была тайна, в которой невыразимо трудно сознаться, он говорил вполголоса с выражением глубокого ужаса на лице. И в самом деле, жизнь для него была сплошным страданием: убеждение в ужасной достоверности "вечного возвращения" доставляло ему неизъяснимые мучения". Потрясенная их ночными откровениями, она посвятила Ницше небольшой гимн. Тот пришел в восхищение от такого подарка и решил отплатить тем же: он задумал положить стихи Лу на музыку и сделать своего рода дифирамб. Восемь лет он намеренно избегал всякого музыкального творчества: музыка взвинчивала его до изнеможения. И в этот раз она взволновала его настолько, что вызвала физические страдания. Ницше слег и из своей комнаты писал m-lle Саломе записки: "Я в постели. Ужасный припадок. Я презираю жизнь". И все-таки "Гимн жизни", который он отдал на суд своим друзьям-музыкантам, имел большой успех. Один дирижер оркестра берется исполнить произведение. Ницше радостно делится этой новостью с Лу: "По этому пути мы можем вместе прийти к потомству, — другие же пути оставить открытыми".

Предложив Ницше быть его другом, Лу, конечно, не предвидела этих страшных эмоций дружбы — более сильных, чем припадки самой страстной и бурной любви. Ницше требовал сочувствия каждой своей мысли. Ему нужна была полная духовная преданность. Лу бунтовала: разве можно отдать кому-нибудь ум и сердце? Ницше обвинял ее в гордыне. Об их ссорах он рассказывал в письме все к тому же Петеру Гасту: "Лу остается со мной еще неделю. Это самая умная женщина в мире. Каждые пять дней между нами разыгрывается маленькая трагедия. Все, что я Вам о ней писал, это абсурд, и, без сомнения, не менее абсурдно и то, что я Вам пишу сейчас". Это написано 20 августа из Таутенбурга. 16 сентября из Лейпцига он пишет тому же адресату: "Второго октября снова приедет Лу: через два месяца мы поедем в Париж и проживем там, быть может, несколько лет. Вот мои планы". Увы, не пройдет и двух месяцев, как дружба Фридриха Ницше и Лу Саломе прекратится навсегда.

Хотя оба друга — Ницше и Рэ — постановили делить между собой эту девушку духовно, в их отношениях не было недостатка в истинно мужских претензиях и соперничестве. Когда Лу проводила часы, дни и целые ночи в обществе одного из них, у другого начинали появляться навязчивые фантазии, которые в конце концов окончательно расстроили их дружбу. Ницше мучило тяжелое подозрение: Лу и Рэ — в заговоре против него, и этот заговор говорит против них — они любят друг друга и обманывают его. Все вокруг стало казаться ему вероломным и

бесцветным, возникла жалкая борьба вместо того духовного счастья, о котором он мечтал. Он чувствовал, что теряет свою странную очаровательную ученицу, своего лучшего, самого умного друга, с которым его связывали восемь лет единомыслия…

При этом он забывал, что у Рэ имеется не меньше оснований для подозрений: к примеру, затянувшаяся прогулка Лу и Ницше на вершину Монте Сакро. Они объясняли свое чересчур долгое путешествие тем, что хотели увидеть заход солнца в Санта Роса, откуда, как утверждают пытливые исследователи, солнца вообще не видать. Позднее Ницше, подразумевая Монте Сакро, благодарил Лу "за самый пленительный сон моей жизни". Эта фраза побудила назойливых репортеров допытываться у Лу (в преклонном уже возрасте), о чем они беседовали и целовались ли… Лу со свойственной ей иронией отвечала, что мало что помнит по этому поводу.

Последний удар, положивший конец отношениям Ницше и Лу, нанесла Элизабет. Без ведома Ницше она написала Саломе грубое письмо. Лу всерьез рассердилась. Подробности ссоры малоизвестны. Сохранились черновики ницшевских писем к Лу, с довольно-таки беспощадным приговором: "Если я бросаю тебя, то исключительно из-за твоего ужасного характера. Не я создал мир, не я создал Лу. Если бы я создавал тебя, то дал бы тебе больше здоровья и еще то, что гораздо важнее здоровья, — может быть, немного любви ко мне".

В его письмах презрительные вердикты соседствуют с неизжитым восхищением, проклятия — с раскаянием.

"Но, Лу, что это за письмо! Так пишут маленькие пансионерки. Что же мне делать? Поймите меня; я хочу, чтобы Вы возвысились в моих глазах, я не хочу, чтобы Вы упали для меня еще ниже… Я думаю, что никто так хорошо и так дурно, как я, не думает о Вас. Не защищайтесь; я уже защитил Вас перед самим собой и перед другими лучше, чем Вы сами могли бы сделать это. Такие создания, как Вы, выносимы для окружающих только тогда, когда у них есть возвышенная цель. Как в Вас мало уважения, благодарности, жалости, вежливости, восхищения, деликатности… Я не знаю, с помощью какого колдовства Вы, взамен того, что дал Вам я, дали мне эгоизм кошки, которая хочет только одного — жить…

Но я еще не вполне разочаровался в Вас; несмотря ни на что, я заметил в Вас присутствие того священного эгоизма, который заставляет нас служить самому высокому в нашей натуре… Прощайте, дорогая Лу, я больше не увижу Вас. Берегите свою душу от подобных поступков. Ваш Ф. Н."

Ницше уехал. Этот его поспешный отъезд скорее напоминал бегство. "Сегодня для меня начинается полное одиночество", — обронил он одному из друзей. Через шесть лет он сойдет с ума. За эти годы он напишет самые сильные и спорные свои книги. Но в то время у "Заратустры" во всем мире найдется только семь читателей.

И кто мог предположить, что этой книге уготована участь первого философского бестселлера?

Может быть, если в результате своих отношений люди не могут обрести друг друга, они обретают новых самих себя? Способен ли один человек сделать для другого нечто большее, чем подарить ему его самого?..

Очень многое в этой истории остается за кадром…

И насколько глубок шрам, который остался в душе Лу? Как отыскать ту грань, где через ее скрытность и калейдоскопичность биографии проступает ее ранимость?

"Карьера в невозможном": начало

Тень странной юности моей —
салют застывший розовых цветов.
И ртутный блик в движеньях облаков
(след уходящих в ночь царей!) — …
Едва слышна заря в ином, запретном мире.
Сокрыты двери снов,
но движется все шире
мерцающий проем на отсветах пути.
В. Жулай

"Не хочу иметь с ней ничего общего", — сказал Ницше после расставания с Лу в Лейпциге, однако из его неотправленных писем видно, что не так просто это оказалось сделать. Все участники несостоявшегося уникального союза еще долго будут переживать и переосмысливать причины своей неудачи.

Вслед за Гёте Лу могла бы повторить, что смыслом земного пути является карьера в невозможном — воплощение немыслимого, сотворение такой интенсивности и насыщенности жизни, на которую не смели посягнуть до тебя. И когда ты угадываешь во встречном партнера по невозможному, вспыхивают все потаенные и сокровенные замыслы и мечты — и потому с неизбежностью, подобно нарыву, мечтатель будет носить горечь памяти о несостоявшемся празднике невозможного. Эта горечь, эта неудовлетворенная и неизжитая любовь к Лу вызвала в страдающем Ницше тот накал чувств, которым до сих пор обжигает его книга: "Смотрите, я учу вас о сверхчеловеке: он — это море, где может потонуть ваше великое презрение". Ведь только море может принять в себя грязный поток и не сделаться нечистым. Человек же — это мост над бездной, канат, протянутый от зверя к сверхчеловеку. "Что такое обезьяна в отношении человека? Посмешище или мучительный позор. И тем же самым должен быть человек для сверхчеловека: посмешищем или мучительным позором". Когда Лу, прообраз и камертон этих сверхчеловеческих устремлений, напишет свою книгу о философии и душе Ницше, которая сделает ее впоследствии

знаменитой, она так скажет там об этом: *"Когда Ницше уже не насилует своей души, когда он свободно выражает свои влечения, становится ясно, среди каких мук он жил, слышится крик об избавлении от самого себя…*

В полном отчаянии он ищет в самом себе и вне себя спасительный идеал, противоположный своему внутреннему существу". Еще в августе 1882 года Ницше однажды прочитал Лу некоторые фрагменты собственных заметок, предназначенных им специально для ее ушей, среди которых есть такое признание: "Самая слабая женщина преображает каждого мужчину в Бога и одновременно из каждой заповеди старой религии творит нечто святое, неприкосновенное, окончательное. И поэтому видно, что для установления религии слабый пол важнее, чем сильный". Вот какого партнера по невозможному угадал и потерял Ницше в Лу: она обладала властью превратить его в пророка.

По правде сказать, у Лу на языке вертелись еще более рискованные сравнения, когда, спохватываясь во время совместных с Ницше "посещений бездн", она начинала понимать его слова о том, что "если долго глядеться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя". Эти затягивавшие их посещения бездн оживают на страницах ее таутенбургского дневника: *"Сейчас невольно находимся духовно в некоем месте, которое кружит головы и куда мы пришли поодиночке, чтобы заглянуть в глубины и пропасти. Даже гуляя, мы выбираем всегда "козьи тропы", и если бы кто-то к нам прислушался, то подумал бы, что разговаривают два дьявола".* "Два дьявола" в Таутенбурге не один день подряд беседовали о тайне силы, иногда завершая разговор невинным поцелуем, который со стороны Лу никогда не был задатком возможной любви. Впрочем, о любви, нежности и дружбе она в тот период написала ряд афоризмов (известных позднее как сборник *"Штибер Нестбух,"*), которые зачитывала и Рэ, и Ницше, стараясь с помощью последнего шлифовать свой стиль. "Любовь подобна водопаду, потому понять ее можно лишь в падении: и чем стремительнее падение, тем быстрее она проходит"; "Смысловым моментом у женщины является последнее слово, а у мужчины — первое". Здесь же запечатлен и ее приоритет Дружбы над всеми другими типами взаимоотношений: *"Друг дает, а влюбленные домогаются".* Некоторые афоризмы — явное эхо бесед с Ницше, другие — свидетельство переживаний последних месяцев, в частности все усугубляющейся вражды к ней Элизабет, которая, так и не дождавшись в своей жизни настоящего друга или подруги, тосковала за достойным себя врагом. В конце концов ей показалось, что она обрела такого абсолютного врага в лице "невыносимой русской". В длинном письме Элизабет Ницше

к Кларе Гелзер в Базель мы находим прямо-таки стенограмму ее острого столкновения с Лу в Йене. Началось с того, что Элизабет, которая была старше Лу на пятнадцать лет, решила дать Саломе "совет" о необходимости благопристойного поведения и сделала это со свойственной ей плохо завуалированной агрессией:

— Считая тебя своей молодой сестрой, вижу свой долг в том, чтобы убедить тебя, что наибольшим кладом таких девушек, как ты, является доброе имя. Тебе едва ли известно, как велики должны быть пределы осторожности в контактах с мужчинами: один необдуманный жест, взгляд или слово — и ты уже погибла!

— Неужели? — не уступила ей в язвительности Лу и тут же попросила избавить ее от пересказа всех злопыхательств сплетников, добавив, что если бы в предупреждениях Элизабет была крупица смысла, Лу уже погибла бы окончательно.

Элизабет, естественно, не унялась и кинула в лицо Лу обвинения в бесстыдных шашнях с Жуковским, позорящих и предающих ее брата, этого "несчастного слепца", крича:

— Жуковский — шарлатан! Я не позволю произносить имя моего брата рядом с именем этого шарлатана!

— Жуковский — великий художник, — кратко отрезала Лу.

— Он русский, и ты защищаешь его только поэтому! Только русские могли выдумать такую несуразицу и бесстыдство, как эта ваша жизнь втроем!

Так в пылу ссоры у Элизабет вырвалась главная причина ее враждебности и недоверия провинциальной бюргерши к "неспокойному, взрывоопасному" духу, который, как она сознается своей адресатке, символизируют для нее русские. Она считает целью Лу только приобретение славы благодаря близости к брату и его откровенное интеллектуальное обворовывание. Подозрительность Элизабет безудержно возрастет благодаря еще одному курьезному происшествию: она с возмущением обнаружит, что Лу на ее глазах легко, словно он был ее давним приятелем, завязала непринужденную беседу с Ферстером, этой первой и последней надеждой Элизабет создать семью. Старая дева Элизабет никогда не обладала тем искрометным даром общения, который так отличал Лу, и той ночью она никак не могла уснуть. В ее воспаленном воображении возникло подозрение, что Лу, пользуясь своим обаянием, задумала поколебать идейные убеждения националиста и антисемита Ферстера и сломать его боевой дух. Спустя три года она-таки станет фрау Ферстер, но через четыре года семейной жизни в Парагвае, где он собирался создать немецкую колонию Новая Германия, Ферстер умрет при неясных обстоятельствах, предположительно в результате самоубийства. Вернувшись в

Германию, Элизабет окончательно возьмет под свой контроль жизнь и наследие брата. Она будет неискренно сетовать, имея в виду историю с Лу: "Какой-то злой рок пожелал, чтобы именно в это время, когда здоровье брата несколько восстановилось, его посетили тяжелые личные испытания: он пережил глубокие разочарования в дружбе… И в первый раз познал одиночество…" Эти тенденциозные сожаления весьма диссонируют с тем признанием, которое вырвалось у Ницше как раз в пору его знакомства с Лу: "Я не хочу больше быть одиноким и хочу вновь открыть для себя, как быть человечным".

Однако Лу, старавшаяся смотреть в глубь той силы, которая столкнула их с Ницше, уже в Таутенбурге отдавала себе отчет в противоречивости их взаимопритяжения и предчувствовала то неуловимое нечто, которое может помешать им стать партнерами по невозможному: *"Целиком ли мы близки?* — пишет она в таутенбургском дневнике. — *Нет, ни в коем случае нет. Над моими ощущениями парит какая-то тень тех идей, которые еще несколько недель назад осчастливливали Ницше, и эта тень нас разделяет, она втискивается между нами.*

И где-то в сокровенной глубине нашего одиночества мы далеки, как два мира. Ницше по сути своей похож на ничейный старый замок, который объемлет не один темный уголок и укрыт северными сумерками, не заметными при поверхностном знакомстве, но скрывающими его самые существенные особенности. Странное дело, но недавно меня с неистовой силой охватила мысль, что со временем мы можем стать друг против друга как враги… Вечерами, когда мы обвязываем лампу, словно инвалида, красной косынкой, чтобы ее свет не вредил его глазам, и она кидает лишь слабый отсвет на комнату, мы говорим, говорим без перерыва про нашу совместную работу и я преисполняюсь удовлетворенности, что вижу перед собой работу продуманную и очерченную. И все же…"

Уже после очевидного разрыва Ницше будет метаться между стремлением окончательно отмежеваться как от "вероломных" Лу и Рэ, так и от "грубой" Элизабет и желанием вернуть счастье близости с Лу. С одной стороны, он говорит устами Заратустры: "Лучше попасть в руки убийцы, чем запутаться в ненависти… Беги в одиночество. Слишком много вокруг людей мелких и никчемных… Женщина не способна на дружбу. Женские существа — это коты, также птицы. Или в лучшем случае коровы". (По словам Эриха Подаха, Ницше распознал в Лу характер дикой кошки, которая изображает из себя домашнюю.)

С другой стороны, этой "дикой кошке" он пишет 23 ноября 1882 года, называя ее любимой Лу: "Чувствую каждое движение

твоей высшей души… Извини! Любимейшая Лу. Будь той, которой должна быть".

Стараясь ее вернуть, он адресует Паулю Рэ (к слову сказать, весьма избирательно посвящавшему Лу в тексты ницшевских посланий, дабы не травмировать ее неуравновешенными анафемами, которые Фридрих метал в минуты гнева) следующую просьбу: "Пусть вас не беспокоят взрывы моей "мании величия" или "раненой пустоты"". И в другом обращении к былым друзьям: "Мои дорогие Лу и Рэ, не беспокойтесь об этих вспышках моей паранойи или уязвленного самолюбия. Даже если однажды в припадке уныния я заберу свою жизнь, не должно быть повода для печали. Я хочу, чтобы вы знали, что я не больше чем полулунатик, пытаемый головными болями и помешавшийся от одиночества. Я достиг этого разумного, как сейчас думаю, понимания ситуации после приема солидной дозы опия, спасающего меня от отчаяния".

В такие минуты Ницше взваливал всю вину за несостоявшийся проект невозможного на себя. Так, одному их общему с Лу знакомому, спросившему, можно ли развеять недоразумение между ними троими, он сказал, печально качая головой: "То, что я сделал, не подлежит прощению…"

С горечью он отдавал себе отчет и в непоправимости "вклада" его сестры. В письме к ней он высказался спокойно, но однозначно: "Одно очевидно — из всех знакомств наиболее ценным и продуктивным было с г-жой Саломе. Благодаря ему я написал "Заратустру". Контакт этот я должен был по твоей милости прекратить… Лу — существо наиболее способное, какое только можно вообразить. Да, у нее есть сомнительные качества. Однако красота этих сомнительных качеств в том, какой стимул они дают мышлению… Но, конечно, это дано понять только мыслителю… Тебе вряд ли дано прочувствовать, какой радостью был для меня многолетний контакт с Рэ и каким неправдоподобным, абсолютным благом была встреча с г-жой Саломе".

Неистребимая власть образа Лу тревожила его душу вплоть до последних дней: об этом свидетельствуют, в частности, заметки, сделанные им в психиатрической лечебнице, где он сравнивает Элизабет и Саломе с темным и светлым ангелами своей судьбы и мечтает, выйдя из лечебницы, разыскать последнюю и покорить на этот раз подлинностью своей мужественности. Ему приписывают даже такое утверждение: "Раз уж небесам было угодно отделить меня от любви всей моей жизни — Лу, — любви, которая и сделала меня настоящим человеком, мне оставалось лишь погрузиться в огонь своего

безумия".

Американский биограф Лу Х. Ф. Петерс отмечает: "Пример Ницше показал ей в страшной ясности, как шатко духовное равновесие творческого человека и как деликатна граница, отделяющая гения от безумца… Этот опыт направил ее внимание на проблему психопатологии, которой позднее она будет заниматься серьезно. Ницше научил ее, что в человеческой жизни интеллект не является решающим фактором, но всегда судьбоносны скрытые подсознательные влечения. В своей позднейшей совместной работе с Фрейдом она нашла подтверждение этим взглядам. Встреча с Ницше показала Лу дорогу к Фрейду и психоанализу…"

Говоря иначе, она указала новые пути "карьеры в невозможном". До психоанализа покуда было далеко, но несбывшееся, несодеянное невозможное настойчиво требовало от Лу нового выбора самой себя. Этот новый рубеж означал, что она окончательно переросла роль Ученицы: до сих пор она двигалась все-таки в фарватере ницшевских идей — теперь ей предстояло обрести независимость. О том, чтобы у Лу появилось пространство для нового жизненного эксперимента, позаботился Пауль.

По расставании с Ницше Лу и Рэ поселились вместе в Берлине. Все ее биографы утверждают, что, живя пять лет под одной крышей с этим человеком, путешествуя с ним, она сохраняла полную самостоятельность и неприкосновенность как женщина. Сторонние мнения ее не интересовали. Пауль же терпеливо мирился со своей ролью, — даже когда узнал, что в берлинском кругу молодых интеллектуалов Лу полушутя называли Ее Превосходительством, а его — только Дамой двора. Лу считала это удачной шуткой. И он признал в конце концов, что это достаточно остроумно.

Общение с Лу сильно изменило характер и привычки Пауля: этот меланхолик и пессимист с суицидальными наклонностями стал веселым жизнелюбом, поборовшим свою страсть к рулетке. Лу шутя обучала Пауля искусству "жить экономно" и весьма в этом преуспела, судя по тем дифирамбам, которые ей пел брат Пауля Георг, ведавший их общим наследством, с облегчением обнаруживший, что Пауль перестал докучать ему своими долгами. Вообще, Рэ был из тех редких людей, совместная жизнь с которыми всегда легка, насыщенна и комфортна. Его редкий дар человечности Лу до конца оценила только с годами:

"…С Паулем нас свела не взаимная потребность в недолгой встрече, а то, что связывает навсегда. И если это действительно было так, то только потому, что он обладал абсолютно

уникальным среди тысяч людей даром товарищества. То, что мне в силу детской наивности казалось естественным и само собой разумеющимся, было на самом деле чем-то исключительным…"

А тем временем Пауль скрыто страдал, наблюдая слишком очевидное сближение Лу с двумя молодыми людьми из их берлинского окружения, общение с которыми, казалось, интриговало ее сильнее, чем старая дружба. Одним из них был творец новой немецкой социологии Фердинанд Теннис, старше ее на шесть лет. В 1897 году он выпустит книгу о культе Ницше, в которой оценит исследование Саломе об авторе "Заратустры" как "пионерское в правильном понимании этого особенного явления". Соперником его был Герман Эббингаус, берлинский приват-доцент, знаток экспериментальной психологии, на одиннадцать лет старше Лу.

Эти предпочтения были связаны не только с неистребимой тягой Лу ко всему новому. Она начала бунтовать против чрезмерной приверженности Пауля к дарвинизму. Его новая книга, "Генезис сознания", расстроила Лу своей чуждостью: некоторые страницы показались ей просто-таки окрашенными "несколько ограниченным утилитаризмом". По большому счету, этот конфликт парадигм назревал уже давно, еще со времен "тройственного союза". Быть может, драматизм ситуации и состоял в том, что она все время разрывалась между идейной близостью к Ницше и человеческой близостью к Рэ? В одном письме к Ницше из Гамбурга (от 4 июня, то есть еще того периода, когда эксперимент Троицы был в полном разгаре) Лу, после чтения "Утренней зари", делится с ним размышлением: *"Оба вы — как два пророка, обращенные к прошлому и будущему, из которых один, Рэ, открывает начало богов, а другой сообщает об их смерти. Но все же в этом с виду совместном стремлении заключено глубокое расхождение, которое наилучшим образом можно определить при помощи Ваших собственных слов: в то время как эгоист у Пауля, который, к огорчению Мальвиды, шагает вплоть до "предела последствий", говорит себе: "единственной нашей целью является удобная, счастливая жизнь", — Вы утверждаете: "если надо отказаться от благополучной жизни, нам остается жизнь героическая"".* Парадоксальная логика героизма всегда была понятней Лу, чем утилитарная естественность "борьбы за существование". К тому же Лу не могла не досадовать, зная, что Ницше, преодолев фазу их совместного с Рэ увлечения позитивизмом, уже вступил в свою профетическую, "заратустрианскую" эпоху, Пауль же в известном смысле продолжал держаться "за старые стены".

Как в этой ситуации могла себя повести такая

"интеллектуальная непоседа", как Лу? "Наполнение себя всякий раз новым содержанием — вот ее излюбленное состояние", — отзывался о ней Э. Шпрангер. Некоторые расценивали эту духовную открытость как "ментальную всеядность", даже как своего рода "интеллектуальную похоть". Трудно сказать, насколько сильно ее обуревали идейные вожделения, но в непостоянстве она была замечена не раз. И все же никакие новые увлечения, по ее словам, не в силах были затронуть глубинную ось их близости с Рэ: в главных вопросах — вопросах ее "карьеры в невозможном" — она доверяла ему безоговорочно. Помимо всего прочего, в обязанности Пауля входило ограждать нестандартность их отношений от досужих домыслов (впрочем, без превратных истолкований все равно не обходилось). Поэтому, вопреки своему прозвищу, именно он был стратегом их союза и ему принадлежал выбор их круга общения, который должен был быть, по его замыслу, равноудаленным как от светских салонов, так и от богемных сборищ. К этому кругу, помимо упомянутых представителей, принадлежали также датский историк литературы Георг Брандес, автор "Главных направлений в литературе XIX века", историк Ганс Делбрюк, издатель Шопенгауэра, переводчик древнеиндийских текстов Пауль Дейссен, вагнерианец Генрих фон Штайн, Макс Хайнеман, сочинявший музыку к стихам Лу, и другие.

Пауль Дейссен в своей книге воспоминаний сознается, что решил было влюбиться в Лу заодно с Теннисом и Эббингаусом. Но влюбленность прошла, стоило ему обнаружить, что на ее взгляды, кроме его собственных, повлияли… "туманные построения Штайна".

Это курьезное разочарование очень показательно. При всей своей интеллектуальной впечатлительности Лу нисколько не была внушаемой. И ее духовная отзывчивость, легко вводя в заблуждение, таила в себе бессознательную провокацию: она пробуждала соблазн духовно узурпировать эту женщину.

Этот соблазн питался иллюзией исключительности возникшего "понимания", которое Лу на самом деле расточала столь "неразборчиво". Очередной "властитель ее дум" лишь понапрасну растравлял себя верой в свое духовное влияние: он быстро наталкивался на стойкий иммунитет Лу к любого рода суггестии и убеждался, что ее практически невозможно идейно околдовать. Поначалу каждый склонен был считать глубину ее понимания и живость ее реакции залогом единственности и предопределенности их встречи. Мало кто подозревал, сколь безграничными, прямо-таки протеевскими ресурсами обладала Лу по части воли к пониманию. Культивируя некую свою

врожденную склонность или предрасположенность до уровня жизненной стратегии, она, если угодно, давала тем самым творческий ответ на ницшевскую "волю к власти". Сколько самозабвенности, душевной вместимости, готовности поставить весь свой внутренний мир на карту требовала от нее такая стратегия! Стратегия, зиждущаяся на добровольном согласии инвестировать всю себя без остатка в каждый контакт. *"Я бы хотела побывать в шкуре каждого человеческого существа, достичь Все-Понимания",* — записала она еще в своих таутенбургских афоризмах. Вслед за Гёте она готова была стать "страшной захватчицей", вменившей себе в обязанность "использовать все, даже враждебные вещи". "Будучи свободен ото всех, я отдал себя во всеобщее рабство, дабы больше приобрести", — говаривал бессмертный автор "Фауста", уверенный, что подлинный индивидуализм возможен только через универсализм. Но Лу прекрасно понимала, что открытость миру должна быть равна по силе противостоянию ему, иначе человек рискует быть просто смятым навалившейся на него всеполнотой. Сверхвосприимчивость обязана уравновешиваться скрытой внутренней твердостью. И Лу неоднократно доказывала своим слишком легковерным собеседникам, что она — крепкий орешек. Камертоном ее поступков была главная тайна все того же Гёте, "заключенная в трех словах": "То, чему я учу, кажется столь легким, а осуществить его почти невозможно: это податливость при большой воле".

Насколько сама Лу осознавала всю искусительность своего пресловутого "абсолютного понимания"? Всегда ли она могла удержаться от невольного кокетства этим обоюдоострым оружием? Ведь для некоторых соблазн "присвоить" ее духовно незаметно переходил в желание присвоить ее и как женщину. Чуть позже история с Францем Ведекиндом предельно обнажит все эти скрытые тенденции. Пока же благодаря покровительству Пауля Рэ ей удавалось безнаказанно балансировать на лезвии бритвы.

Людвиг Гютер, еще один член их берлинской компании, в то время студент философии, в письме к Мальвиде Мейзенбух оставил нам весьма выразительный портрет Лу берлинского периода: "…Передо мной предстало милое, покоряющее, совершенно женственное создание, которому вовсе не нужны те средства, к которым прибегают женщины, но подвластно оружие мужчин в их борьбе за жизнь… Точность и определенность каждого слова и отсутствие опасений того рода, что эта выявленность характера и конкретность позиции, как правило, мало нравятся окружающим. Предметом разговора становятся,

конечно, музыка, искусство, поэзия, но все это измеряется совершенно особым масштабом: вместо комфортности чувственно-эстетического восприятия — холодное философствование…" О Рэ же Гютер отозвался так: "…что-то мефистофелевское, все анализирующий и понимающий…"

Очевидно, прибегнув к своему "мефистофелевскому аналитизму", Пауль нашел радикальное средство нейтрализовать интеллектуальных соперников, предложив Лу уехать в санаторий Грис-Меран в Австрии, дабы в тиши поработать там над своими книгами: она — над "Борьбой за Бога", он — над "Восстанием совести". Лу позднее всегда лукаво недоумевала, почему ее первая книга была столь доброжелательно встречена критикой: по ее словам, она писалась с весьма утилитарной целью — оттянуть вновь было нависшую угрозу возвращения в Петербург под предлогом серьезной писательской работы. Родные Лу опять смирились, но потребовали не впутывать в "авантюру" фамилию семьи — и книга вышла под мужским псевдонимом "Генри Лу". Тем не менее эта первая беллетристическая проба пера была встречена с энтузиазмом и оценена позитивно. Даже Ницше из своего уединения ознакомился с обеими книгами и выразил свое мнение: "Вчера видел книгу Рэ о совести. Какая пустая, нудная и фальшивая! Стоит говорить только о тех вещах, которые знаешь из собственного опыта. Совершенно иначе я воспринял полуповесть Саломе. Форма мягкая, девичья, и ее можно даже признать почти комичной, но само дело требует уважения, и если тут нет Вечной Женственности, которой обладает эта девушка, то, наверное, присутствует вечная мужественность". Возможно, Ницше был польщен откровенной попыткой Лу переосмыслить опыт их отношений в истории близости героев повествования — Куно и Маргариты.

Паулю действительно повезло значительно меньше: не только Ницше негативно оценил его книгу — он пытался защитить свой текст в качестве диссертации и получил единогласный отказ. Утраченные надежды привели к тому, что он решил расстаться с философией и начал обучаться медицине. Вопреки своему раннему философскому недоверию к идее равенства людей (для него было слишком очевидным, что все равенство заключается в себялюбии, зависти и тщеславии и что на таком равенстве нельзя построить братства) он, став врачом, вел себя как последовательный ее поборник: помогал бедным, слабым, тем, кто не мог платить за лечение. Закончив в Мюнхене медицинский факультет, он лечил бедных со всей округи, часто за собственные деньги отправлял их в госпиталь в Берлин или Бреслау. В конце жизни он поселился в деревне Селерина в Швейцарии, в том

самом доме, в котором пятнадцать лет назад жил с Лу. В глазах бедняков, которых он лечил бесплатно, он был почти святым. Некоторые считали его священником, избравшим особую форму богослужения — творить добро среди бедных. Такой парадоксальный вираж судьбы для человека, писавшего книги, наполненные вольтерьянским духом и повествующие о земных корнях всяческих религий! Он жил на мизерную лепту благодарности своих больных и, казалось, в большем не нуждался. Любил горные прогулки и во время одной из них, 28 сентября 1901 года, поскользнулся на скале и насмерть разбился, упав в реку Инн. Была ли это лишь трагическая случайность? Исследователи не исключают версии о самоубийстве. Это страшное подозрение не давало покоя и Лу. Получив известие о смерти Рэ, она написала Фриде фон Бюлов: *"Узнала, что он упал со скалы в Селерине, где мы провели когда-то лето. Погрузилась в старые письма, и многое прояснилось, все, что было, ожило. Мое главное впечатление: много, очень много имела! В Пауле слишком много добра и богатства в расчете на одну человеческую судьбу. Отсюда эта покорность…"* Похороны "святого врача" в Селерине походили скорее на некое траурное религиозное паломничество: пришедшие проститься воздавали ему поистине королевские почести.

Вернемся, однако, в 1886 год. Тогда Лу и Рэ начали жить раздельно, поскольку, занявшись лечебной практикой, Пауль был вынужден каждое утро анатомировать и с этой целью снял себе маленькую комнатку возле университета. Возможно, для ликвидации совместного жилища были и другие причины, но об этом ни один из двоих сведений не оставил.

И однажды в дверь к живущей теперь отдельно Лу постучал незнакомый мужчина — благообразный, черноволосый, со слегка седеющей бородой, по виду старше ее лет на пятнадцать. Извинившись, он сказал, что узнал о ней через Брандеса, и представился. Его звали Карл Фридрих Андреас…

Загадка замужества

Мы бродили вдвоем и печальны
среди тонких и длинных стволов.
Беспощадные, жадные тайны
нас томили, томили без слов.
В. Брюсов

Непредвиденным для большинства виражом ее "карьеры в невозможном" оказался брак с Фридрихом Карлом Андреасом, профессором-иранистом, человеком весьма экзотического происхождения, родившимся 14 апреля 1846 года на Яве. В нем причудливо слилась кровь старинного персидско-американского рода князей Багратуни с малайской. Его дед по материнской линии, врач, осел в Индии, женился на красивой малайской девушке. Мать вышла замуж за происходившего из рода персидских князей Андреаса (Багратуни), — его имя вследствие династических споров стало фамилией. Семья переехала в Гамбург в 1852 году, когда Карлу Фридриху было шесть лет.

Хорошее образование в Швейцарии, Германии, Дании сделало из него выдающегося ориенталиста, знатока множества языков и наречий — персидских, афганских, грузинских, армянского (родного языка отца) и других. Получив степень доктора в Эрлангенском университете и пройдя специализацию в Копенгагене, он принял участие в войне 1870 года, а также в научных экспедициях в Персию и Индию, где шесть лет изучал местную культуру, древние языки, археологические раскопки. Был Андреас причастен поэзии — переводил Хафиза и Омара Хайяма, — а также и мистике, как едва ли не всякий, кто соприкасается с Востоком. Возвратившись в Германию, он стал преподавать на кафедре востоковедения в Берлинском университете. Когда Лу познакомилась со своим будущим мужем, он, помимо всего прочего, обучал немецкому языку турецких офицеров, проживавших в том самом пансионате, в котором она снимала для себя скромную комнату. Первое впечатление от него у нее было позитивное. Немного ниже ее, с проникновенным взглядом темно-бронзовых глаз, взлохмачивающий в задумчивости свою густую бороду, — он казался пришельцем из другого мира, о чем свидетельствовала и его биография: на Лу враз повеяло реальностью той жизни, о которой она до сих пор знала лишь из книг.

Что побудило "Заратустру" на двадцать шестом году жизни

выйти замуж, остается, пожалуй, наиболее головоломным вопросом в ее и без того немало запутанной биографии. По некоторым версиям, ее отказ мог бы повлечь за собой самоубийство Андреаса. Думается, однако, едва ли Лу была чувствительна к подобному шантажу: таинственные обстоятельства смерти Пауля Рэ и Виктора Тауска она решительно отказывалась воспринимать как повод для укоров совести.

Брачный договор Лу, согласно ее требованию, исключал всякую возможность сексуальной близости: сохранились свидетельства яростных вспышек неутоленной страсти Андреаса и того беспощадного сопротивления, с которым их встречала Саломе. Почему, в таком случае, ради вступления в этот брак Лу решила разрушить свой столь же бесполый союз с Паулем Рэ (человеком, чьей дружбой она, по собственному признанию, дорожила больше всего на свете и потерю которого считала невосполнимой)? Похоже, что в Андреасе ее властно притягивала некая странная экзотическая харизма: с удивительным для нее послушанием она переняла все его жизненные привычки — вегетарианство, хождение босиком по земле, близость к природе и любовь к животным. Его глубоко интересовала тайна связи человека с миром животных: он умел подражать голосам птиц и, как вспоминает Лу, часто утром в саду именно так начинал день. Быть может, фигура Андреаса воплощала для нее гипнотическое наваждение Востока? Во всяком случае, невзирая на фиктивность их союза, супруги бережно хранили этот брак до старости, пока Лу не стала вдовой Андреас, унаследовав поместье в Геттингене и завещав, в свою очередь, все свое состояние внебрачной дочери Андреаса и их экономки, Марии, которая ухаживала за Лу до конца ее дней. Более того, Лу наотрез отказывалась развестись с Андреасом всякий раз, когда кто-либо из ее возлюбленных начинал требовать узаконить их узы, и всегда тщательно следила, чтобы ни один из ее романов не скомпрометировал ненароком имя и реноме мужа. Оговорив с Андреасом свою взаимную свободу в смысле чувств, они условились рассказывать друг другу обо всем, не скрывая ни одного факта, могущего унизить достоинство партнера. И как бы там ни было, их брак просуществовал сорок три года.

Итак, исходя из противоречивых и парадоксальных признаний и воспоминаний, следует, вероятно, согласиться с тем, что мотивы замужества Лу были для нее самой не менее внутренне таинственными, чем для окружающих. Уже оснащенная фрейдовским методом, она вновь попыталась вернуться в эту точку своего пути и проникнуть в собственную

тайну. В 1915 году в психоаналитическом журнале "Имаго" в одном из своих эссе она писала о роли сублимации (вытеснения) влечений: *"Нет дороги от сублимации к сублимации, как нет пути от вершины к вершине, без погружения в лежащую между ними пропасть. Наиболее "подкожные" движущие силы активизируются при духовном творчестве, а наиболее высокие "сублимации" являются следствиями извержений из наиболее глубоких пропастей. Везде, где идеализируются объекты и сублимируются влечения, есть что-то спрятанное, приглушенное. Однако всегда есть больше причин, чем только эти…"*

Неизвестно, что с самого начала было "приглушено" в их отношениях, — кое-кто считает, что Лу увидела в Андреасе некоторые черты Густава фон Саломе. И если отношения с Рэ она всегда ощущала как союз брата и сестры, то Андреаса она хотела уважать как понимающего и заботливого отца. Действительно, они часто шутя называли друг друга "старичок" и "доченька". И в таком контексте начинает проступать различие для Лу между этими двумя бесполыми союзами. Жизнь, впрочем, показала, что в брате она нуждалась не менее остро, чем в отце: она откровенно пишет о разрыве с Рэ как об одном из примеров, когда она не выбрала то, что сама чувствовала как естественное и правильное. Рэ исчез после ее помолвки с Андреасом, оставив лишь краткую записку: "Сжалься, не ищи". И Лу объясняет его отъезд неспособностью Пауля поверить в то, как он был важен для нее, его хроническим сомнением в возможности любви к нему. В свою очередь, она не сумела убедительно объяснить Андреасу суть собственных отношений с Рэ или назвать границы этих отношений. И хотя свобода продолжать встречаться с Паулем была частью брачного контракта, Андреас не позволил бы ей объяснить ему все это. И Рэ даже не подозревал, что Лу нуждалась в нем больше, чем когда-либо, что ее преследовали мучительные сны о нем, от которых она просыпалась в тягостном и угнетенном состоянии духа. Она особенно нуждалась в нем, вступив в отношения с Андреасом, *"потому что то мистическое принуждение, под влиянием которого я предприняла этот безвозвратный шаг, отделило меня не только от Рэ, но и от меня самой"*. Не следует, впрочем, заблуждаться насчет того смысла, который Лу вложила в слово *принуждение:* это не было каким-либо насилием со стороны Андреаса. Скорее, это было наваждением некоего чувства неизбежности и судьбинной необходимости быть вместе, которое безраздельно владело Андреасом и которым он загипнотизировал и Лу: *"В конечном счете он, должно быть, был прав в своей уверенности, что мы принадлежали друг другу"*. Сохранилось описание Лу вечера перед

помолвкой, когда Андреас схватил нож, лежавший у нее на столе, и вонзил его в грудь — это был аффективный способ убедить ее в том, что они должны пожениться. Саломе вспоминает, что доктор, которого вызвали ухаживать за Андреасом, явно подозревал ее: едва ли он мог понять, что "это был знак выражения их взаимного отчаяния и замешательства" перед "законом неизбежной принадлежности" друг другу, которому она все еще пыталась воспротивиться. Интересны слова Лу о значении в ее жизни *"непроизвольных выборов"*, когда мотивы ее поведения вырастали из подсознательного знания в большей мере, чем из тщательно продуманной сознательной позиции: она приводит два примера *"непроизвольных выборов"* в своей жизни. Первым был отказ конфирмоваться в родительской церкви, после того как ей приснился сон, в котором она услышала себя говорящей "нет". Она пыталась бороться со своим порывом, но это знание о будущем поступке было абсолютным и необратимым, потому что исходило из глубины ее самой. Она пишет, что невозможно когда-либо однозначно объяснить наши непроизвольные решения или оценки, но все же мы пытаемся "пришпилить" их, а они продолжают от нас ускользать. *"И вдруг застываешь перед свершенностью факта, полностью изменяющего наши жизни навсегда"*. Во второй раз она совершила *"непроизвольный выбор"*, приняв решение быть женой Андреаса в тот момент, когда они оба, потрясенные неизбежностью, "стояли перед смертью"; впрочем, столь же твердо она решила никогда не доводить эту роль "до конца": откровением этого "инстинктивного отказа" тоже стал сон — тот самый, когда она чуть не задушила мужа. Тем не менее готовность всерьез изменить жизнь была налицо: Лу намеревалась вслед за Андреасом покинуть Европу, когда предполагалось, что он обоснуется в Армении или в Персии. Друзья Лу отзывались о Карле Фридрихе Андреасе как об исключительно вдохновенном учителе и редком знатоке Востока, имевшем множество учеников и почитателей. Для человека Востока, каким Лу считала мужа, свойственны другие, нежели для европейца, взаимоотношения между жизнью и интеллектом: в его преподавательской практике тип мироотношения и эрудиция, парадоксально сочетаясь, порождали в студенте новое, "благоговейное" восприятие бытия. Но такой тип мыследеятельности имел свою изнанку: он затруднял для Андреаса письменное изложение. Лу попыталась выяснить для себя причины этой проблемы, тем более что некоторые биографы возлагали вину за его "молчание" на нее. Она пишет, что в Андреасе раскол между примитивным и сознательным, который уже заложен в нас с рождения, был особенно силен и сказывался

как на его таланте, так и на его ограниченностях. Он был, по ее словам, зажат между собственной интуицией, визуальным восприятием вещей и приверженностью методу тщательного аналитического поиска, который не позволял достичь изначального интуитивного богатства и полноты. Следствием этого противоречия, по словам Саломе, как правило, и становилась неспособность Андреаса доводить свои проекты до конца. Как писателя его упрекали в пессимизме, беспокойстве, крайней степени разочарованности в культуре — Саломе называла эту его особенность "отсутствием Воскресений". Он вообще был человеком крайностей — и в своем гневе, и в своей нежности: "диким и ласковым" назвал его Гауптман. Вообще, друзья Лу окрестили Андреаса "Луманом" — человеком Лу: так они приняли перемену в судьбе Саломе, поняв в конце концов, что, с одной стороны, она считает ее незыблемой, с другой же, вопреки их первоначальным ожиданиям, не собирается изменять никаким своим жизненным кредо и остается верной своему поиску "карьеры в невозможном". Тем не менее замужество Лу заметным образом сказалось на ее отношениях с матерью. Мать приехала в Шмаргендорф и с удовольствием оставалась тут долгое время. Это были самые гармоничные их дни. Мать была уверена, что Андреас, как она выражалась, "освободил Лу от Сатаны". Лу же не разочаровывала ее, ей не хотелось портить вдруг возникшую близость.

Хотя Лу каждый год проведывала мать в Петербурге, в их отношениях только один раз прорвалось глубинное чувство подлинного родства. Было это в 1911 году, за два года до смерти девяностолетней матери. Описание сцены прощания с матерью сохранилось в воспоминаниях Лу, в нем дышит почти несвойственная для нее пронзительная и горькая теплота. Рано утром Лу собиралась на поезд, и мать, еще толком не пробудившаяся ото сна, вышла ее провожать, — *"босиком, в длинном ночном одеянии, белые как снег волосы… Она выглядела так, будто была вызвана из сна, да и действовала как сон. Не сказала мне ни слова. Только прижалась ко мне… Было такое впечатление, словно она вынула это движение из самых потайных глубин души специально для этого момента — как последнюю сладость, которая собирается в плоде, долго висевшем на солнце, прежде чем теперь упасть. И возможно пронизали нас в тиши этой высвободившейся нежной сладости те же самые мысли, та же самая боль, тот же самый сердечный порыв: о, почему, почему — только теперь! Это был последний подарок моей мамы мне. Любимая Мушка!"*.

Для матери она хотела сохранить видимость традиционного

брака, тем временем ее реальный брак переживал различные, достаточно бурные фазы своего развития. Решающим кризисом его существования стала история с Георгом Ледебуром.

По мнению большинства биографов, именно этот мужчина положил конец ее "ослеплению аскетизмом" (читатель помнит, что Лу решительно не принимала физическую сторону любви до тридцати с лишним лет).

И вновь — белое пятно в тщательно вытканном усилиями биографов гобелене образа: что на самом деле стояло за этим странным экспериментом? Редуцировать проблему к инфантильности Лу, ее чувственной заторможенности или фобии — значит уклониться от подлинного решения загадки. Понятно, что у личности со столь рано сформированной и неуклонно реализуемой жизненной программой за этим стоял некий символически нагруженный Выбор. Нам остается гадать: сама она ни одним намеком не захотела помочь в этом разобраться. Мифотема сакральной девственности, мистика и магия невинности достаточно изучены: уже в языческих культах можно найти представления о потере магической силы ведьмами при утрате ими девственности. В легенде о короле Артуре и Рыцарях Круглого Стола сообщается, что лишь рыцарь, хранящий невинность, способен увидеть Чашу Святого Грааля. Юрий Бородай в своем гениальном эссе "Миф и культура" поймал тайный нерв мифа о Мадонне: "Не случайно у католиков тяжелейшим грехом считалось вожделение к Святой Деве; существовали даже особые индульгенции, его отпускающие. И недаром так мучились величайшие из художников, пытаясь передать ее образ: это должна была быть женщина, сочетающая в себе предельную одухотворенность с предельной эротичностью. Женщина с темпераментом вольт на тысячу! Чтобы от Духа Святого воспламениться могла! Безо всякого прикосновения!" Речь идет о таком внутреннем горении, вызываемом избранником любви, и таком психическом накале, когда в момент прикосновения "земля уплывает из-под ног" и наивысший экстаз переживается в обход всей сексуальной техники, столь долго вытесняемой христианской культурой! Возможно предположить, что некая сходная интуиция была неосознанно положена Лу Саломе в основу ее эротического мироотношения.

Тайну противостояния эротического и сексуального трудно постигнуть тем, кто, перефразируя Ницше, не страдал от судьбы Эротики, "как от открытой раны". Столь неуловимые вещи лишь иногда могут обрести голос в поэзии. Быть может, эти написанные много лет спустя строки способны дать намек на невысказанные интуиции Лу:

Когда глаза твои наполнятся туманом,
а тело нервное упругою струной
под пальцами моими затрепещет…
когда горячее и властное желанье
ударит в грудь тяжелою волной
и вздрогнут судорожно плечи…
Когда внезапно грудь прорвется горьким стоном,
оцепенеют руки в мертвой хватке,
пытаясь обрести иное тело,
поймать себя же на зверином гоне
и, поборов себя в смертельной схватке,
то отыскать, что в вечность отлетело…
Пытаясь всем своим отчаяньем разрушить
преграду, отделившую навечно
любое Нечто от другого Нечто,-
в тот самый миг ты разбиваешь душу
о невозможность воедино слиться,
взять и отдать, вобрать и раствориться.
О невозможность стать одним огнем.
Не вырваться из собственных пределов.
И обессилено поверженное тело.
Т. Метелл

Между тем годами культивируемый аскетизм исподволь подготовил в Лу взрыв энергий, которые перевернули все до сих пор обязательное: *"состояние, неподвластное ни уму, ни духу, ни мере: наступает что-то и захватывает, и ему отдаются, ничего не просчитывая и не сдерживаясь, и не довольствуются больше половиной, отдают и принимают без раздумий, без размышлений, почти без осознания, улыбаясь опасности, забывая себя, с распахнутой душой и бессильным разумом, и разве это не должно быть самым важным? Разве не в этом наш смысл, наше благородство?"* — так звучит это в устах Фенички из одноименного романа Лу.

Итак, Георг Ледебур был старше Лу на одиннадцать лет. Он являлся одним из ярких представителей левого крыла немецкой политики. В 1900–1918 годах входил в Рейхстаг, издавал марксистскую газету "Форвартс", голосовал против военных кредитов во время войны, принимал участие в революции 1918 года, встречался с Троцким, в 1933 году эмигрировал в Швейцарию, где умер в 1947-м, через десять лет после смерти нашей героини.

До встречи с ним Лу не интересовалась политикой, но теперь

она понимает, что политика может помочь ей открыть новое пространство в ее психологических и социальных исследованиях. Георг признался ей в любви, очарованный ее "глубиной, интеллигентностью и обаянием". Терпеливо объяснял ей, что ее брак — это чистая иллюзия (она и сама это понимала), хотел ей помочь в разводе, чтобы жениться на ней. И хотя она знала его достаточно давно, познакомившись с ним в кругу берлинских социалистов, но, застигнутая врасплох непосредственностью его чувств, решила не видеться с ним целый год. Она серьезно опасалась, что конфликт между "диким" Андреасом и влиятельным политиком Ледебуром может иметь нежелательные последствия для ее мужа. Однако запланированная вначале годовая пауза растянулась в пожизненную.

Лу с трудом набралась храбрости рассказать об этой связи Андреасу. У них состоялся такой диалог: *"Можно я тебе расскажу, что со мной недавно произошло?"* — спросила Лу. "Нет", — без колебаний и без возможности продолжать этот разговор ответил Андреас. *"Так над нами выросла… тишина, из которой мы уже никогда не вышли",* — писала Лу. Впрочем, невысказанное продолжало висеть в семейной атмосфере и без слов. После эмоционального шквала, потрясшего семейную жизнь Андреасов, супруги в конце концов постановили сохранить общий дом, имя и взаимное дружеское расположение, и вдобавок ко всему Лу обрела совершенно неограниченную свободу при соблюдении внешних форм брака. Стараясь быть великодушной, она позволяла мужу то же самое.

Пережив мучительный внутренний кризис, она решила отказаться от отношений с Георгом, несмотря на то, что Ледебур показался ей первым настоящим мужчиной в ее жизни. Андреас убедил ее, что их брак таит в себе некие резервы и нереализованные еще возможности, ради которых его стоит продолжать. Ледебур не простит ей этого. Когда после первой мировой войны она обратится к нему с просьбой помочь выяснить, используя дипломатические каналы, судьбу ее семьи в Петербурге, письмо возвратится к Лу как не принятое адресатом.

Трудно сказать, проливают ли все эти разрозненные факты и противоречивые признания свет на загадку ее замужества; во всяком случае, для того, кто попытался в них разобраться, совершенно явственно проступает парадоксальное, однако не заимствованное (как в поверхностном феминизме), а глубоко пережитое ею понимание смысла брака и любви в его отличии от страсти и романа. Для Лу, к слову, в отличие от поверхностно феминистских идей, ни сам брак, ни таинство бракосочетания никогда не были чем-то формальным или не заслуживающим

серьезного отношения. В романе *"Феничка"* ее героиня горячо спорит об этом с Максом Вернером:

" — Эти длительные брачные церемонии на самом деле затянуты выше всякого разумения, — сказал Вернер.

Феня покачала головой.

— Нисколько! Совсем наоборот! Ведь что на самом деле происходит? Есть двое людей, которые хотят соединиться навсегда, потому что, по-видимому, они любят друг друга, но не только ради личной любви, но в единстве с чем-то высшим, третьим, в котором они могут нерушимо скрепить свои узы. Иначе весь союз не имеет никакой цели. Нет, они хотят быть выше чего-то личного, эмоционального — вровень с некой высшей инстанцией, называют ли они ее Богом или священными узами семьи, вечной клятвой брака или как-либо еще.

В любом случае, всегда присутствует это загадочное нечто — другое, отличное от простой любви между мужчиной и женщиной".

Предоставим все же Лу последнее слово в защиту ее странного понимания идеи брака. Приведем наиболее выстраданное и глубокое признание женщины, уже не раз испытавшей любовь:

"…Речь идет о понимании того факта, что брак означает **жить друг в друге (а не друг с другом),** пусть даже в религиозном, совершенно идеальном смысле. Сама по себе любовь не есть, разумеется, нечто идеальное, — но, ей-богу, я никогда не понимала, почему люди, влекомые друг к другу чувственно, вступают в брак…"

"Карьера в невозможном": "Междустранье"

Я все мечты люблю, мне дороги все речи
И всем богам я посвящаю стих.
В. Брюсов

И продолжил я путь по дорогам Земли.
И упрямые крылья дрожали в пыли.
В. Жулай

"Карьера в невозможном" требовала как одного из своих условий номадического образа жизни: Лу становится интеллектуальной кочевницей — Берлин, Мюнхен, Париж, Петербург, Вена и вновь Берлин… Берлин того времени был для Лу местом встречи с людьми так называемого фридрихшагенского круга, которые собирались в корчме "Под черным поросенком". Живя с Паулем Рэ, она встречалась по большей части с молодыми учеными и включалась в философские беседы. Сейчас Лу в основном принимает участие в дискуссиях о литературе и искусстве. Муж познакомил ее с Уильямом Бельшем, новеллистом и популяризатором естественных наук, а тот представил Саломе группе поэтов-натуралистов, критиков, журналистов и прочих активистов Фридрихшагена. Воспоминания Лу и ее неопубликованные дневники того периода подтверждают важность ее дружбы с известным писателем Герхартом Гауптманом и его женой Мари, Арно Хольцем, братьями Харт, а также Августом Стриндбергом. Мир, в который влилась Лу, был для нее совершенно новым и неосвоенным. Интересным представляется ее признание о своем отношении к литературе: *"Литература как таковая меня особо не интересовала (русские писатели интересовали в ином, нелитературном, смысле), я была довольно неискушенной в этой области, особенно в аспекте красот стиля…"* Но, как мы уже знаем, Лу схватывала на лету, работала и училась истово и, не стесняясь своего невежества, спрашивала и вникала во все, что казалось интересным. И потому вскоре чуждая литературы Саломе приобретет репутацию известнейшего литератора. Впрочем, в главных пристрастиях она останется

собой: даже когда — во времена близости с Райнером Рильке — ее интерес к литературе достигнет апофеоза, он все же будет скорее философским, нежели сугубо литературным.

Сейчас, изучая историю литературного движения той эпохи, обнаруживаем, что у современников уважением и авторитетом пользовались литераторы "эпигонско-эклектичного" направления, наделенные стипендиями, пенсиями и похвалами консервативной критики. Это Эмануель Гейбель, считавшийся князем поэтов, Пауль Хейсе, лауреат Нобелевской премии 1910 года, граф Адольф Фридрих Шлак, Йозеф Виктор Шеффель. Они представляли верхушку литературной иерархии того времени, отвлекая внимание критики и общественности от настоящих "величин", которыми были Теодор Фонтане в Берлине, Готфрид Келлер в Цюрихе, Людвиг Анзенгрубер в Вене.

В противовес официозно признанной литературе новые друзья и соратники Лу создали движение так называемого натурализма, главными требованиями которого были модернизация и возрождение истинных основ творчества, а оплотом и рупором этого нового течения стала "Freie Buhne" — "Свободная сцена". Натуралисты казались Саломе "освежающе юными", а изобретение и изображение новых концепций современной личности, для которой старые буржуазные формы и условности не имели смысла, — личности, способной к самовозрождению и созиданию новых отношений, всегда было эпицентром ее интересов. Кроме того, Лу явно импонировала та форма идейной и дружеской сплоченности, которой дышала вся эта группировка. Ее не мог оставлять равнодушной сам факт наличия некоего коллективного проекта после болезненной неудачи ее замысла с "интеллектуальной коммуной-Троицей": Лу не мог не причинить боль ницшевский отказ от общения и его последующее предпочтение буквальной и образной изоляции в своей собственной душе. Саломе верила, что судьба Ницше проиллюстрировала все — благотворные и патологические — последствия выбора одиночества и тотальной критики разума. Ей хотелось солидарности, плодотворного общения, споров до хрипоты, новых встреч… *"Что поражало меня больше всего,* — вспоминала она, — *это взрыв человеческого участия, его радостный разбег: веселая жизнерадостная энергия, бурная молодость и оптимизм убеждений, — и ничего из этого не было утрачено, несмотря на тот факт, что все это движение воплощалось и пропагандировало себя посредством наиболее печальных и трагичных тем, которые его участники пропускали через свою душу, чтобы иметь возможность и право провозглашать новый дух".* Вливишись в центр берлинского

Натуралистического кружка, она стала одним из основных авторов статей и критических обозрений.

И все же ее связь с натурализмом была столь же дистанцированной и немножко отстраненной, как и другие ее увлечения. Лу не считала себя "натуралисткой", точно так же как она не считается таковой сейчас. Она участвовала, но никогда не "присоединялась". Ее духовный организм был подобен мельнице, которая сразу отделяла зерна от плевел. Должно быть, многие сразу чувствовали в ней это, и ее авторитет в новом кругу был бесспорен. Кроме того, она отличалась особенным спокойствием, и последнее снискало ей славу и роль третейского судьи.

Бруно Вилле, один из главных "фридрихшагенцев", вспоминал позднее: "…мы создали группу, в которой участвовали братья Харт, лирик Оскар Линк, Рихард Демель, несколько актеров, представители социалистов, и среди нас было немало "женского элемента"".

Лу являлась частью этой женской фракции, но держалась поодаль от повседневных реалий богемной жизни, стараясь быть скорее наблюдательницей, чем активной участницей. Местом же экстраординарных богемных акций, эксцессов и "выбрыков" была уже упомянутая корчма "Под черным поросенком", где немцы и скандинавы во главе с "польским демоном" Станиславом Пшибышевским, этим властителем дум эпохи, остро поставившим в своих романах вопросы пола, обсуждали проблему нового содержания литературы, призванной пробудить ото сна мещанскую публику и консервативную критику. Впервые Лу привел туда Фриц Маутнер из Грюневальда, называвший себя "безбожным мистиком", которого объединял с Лу как раз интерес к религии.

Хотя Саломе бывала в этом заведении не раз, она не запомнит (может быть, сознательно) Станислава Пшибышевского, который на всех представительниц "женского элемента" хотел распространить свои демонические чары. Он же (в "Моих современниках") отозвался о ней коротко, не скрывая иронии и доходя до клеветы: "…пропагандировала Ницше фрау Лу Андреас-Саломе, запальчиво утверждавшая, что была единственной женщиной, с которой Ницше поддерживал отношения. А между тем Ницше не знал, как ее отогнать, и бежал от нее, как от заразы".

Памятуя о пересудах вокруг ее отношений с Ницше (отголоски которых до сих пор возбуждали интерес к ней, хотя и несколько скандальный), Лу старалась давать отпор ухаживаниям и обычным для того круга предложениям. Испытал это и Герхарт Гауптман. Она часто бывала у него в доме, где он жил с первой

женой и тремя сыновьями. Сведения об этом увлечении известного писателя весьма отрывочны, как почти все, что связано с Лу. Она всегда уничтожала и просила других уничтожать письма интимного содержания. Скорее всего, Лу поступала так, не желая ничем мешать карьере своего мужа. Тем удивительней, что в ее наследии нашелся листок с запиской Гауптмана: "Любимая и дорогая Лу, я должен иметь право прийти. Герхарт". Возможно, обнаружится и дальнейшая их корреспонденция, когда исследователи доберутся до недавно открытых архивов Гауптмана, который не уничтожал даже наиболее компрометирующих его документов.

Описания Гауптмана, оставленные его современниками, весьма колоритны: апостол здорового образа жизни, пропагандировавший с запалом прозелита трезвость и отказ от мясной пищи, он выглядел как большой неиспорченный ребенок лесов и полей, хотя жизнь в литературных кругах изменила многие его привычки. Тем не менее именно Гауптман слыл в театральных кругах наибольшим эротоманом. Лу была свидетельницей изначальной супружеской идиллии, однако уже появилась на горизонте четырнадцатилетняя скрипачка Маргарет Маршалл, которая потом станет второй женой писателя. Затем была танцовщица Ида Орлофф, о развращенности которой он достаточно откровенно писал… Все это не могло укрыться от взгляда Лу, старавшейся сублимировать эротические переживания не только в теории. Поэтому Гауптман стал ей столь же чужд, как и Пшибышевский.

Потерпев поражение, Герхарт начал относиться к Лу со все возрастающим уважением. Некоторые исследователи полагают, что именно Лу была прообразом Анны Махр из "Одиноких", во всяком случае взгляды Лу того периода действительно близки Аннинym. Однако Лу, прочитав "Одиноких", отметила на страницах журнала "Фрайе Бюне", что писатель не сумел убедительно показать духовного превосходства Анны над ее окружением. Узнав об этом, Гауптман саркастически буркнул: "Очевидно, я слишком глуп для Лу".

Переживая все новые женские идентификации в новых творческих контекстах, Лу вынашивала идею книги о судьбах женщин, импульс к написанию которой, равно как и среду отталкивания, она почерпнула в реалиях своей новой жизни.

Как всегда, социальный и политический аспект натуралистического движения, важный для остальных, не представлял для нее большого интереса и привлекательности. Что же касается самой литературы, то ее смущал расширительный реализм и даже буквализм в "новом" театре в

Берлине: Лу считала, что это провалит актуальные цели движения, то есть провозглашенные требования модернизации и возрождения. Однако в берлинском театре была поставлена вещь, приковавшая к себе ее внимание, — ибсеновская драма "Привидения". Безусловно, психологическая глубина и нюансировка Ибсена вдохновили ее куда больше, чем прямолинейный реализм натуралистов. В 1891 году Саломе пишет и публикует свою книгу о женских характерах у Ибсена. Пережив, по собственному признанию, "первые мучительные несколько лет замужества", она моментально поймала близкий ей сквозной нерв ибсеновских повествований: внутренний конфликт женского существования, порожденный, с одной стороны, скованностью женской самореализации обычаями брака, а с другой, — напряжением между страстью и общественными условностями. Когда книга Саломе увидела свет, слава и популярность Ибсена в Германии были еще невелики и неустойчивы. Лу явилась одной из первых "трубачей" Ибсена в Европе наряду с Георгом Брандесом в Скандинавии, Отто Брамом в Германии, Бернардом Шоу в Англии.

Ибсен, кроме всего прочего, был темой, которая постоянно соединяла Лу и Андреаса. Муж переводил Ибсена "с листа", и то были полные единения дни и вечера. Являлось ли это единство еще и идейным? Наверное, нет. Андреас был чересчур сосредоточен на нюансах перевода, в то время как мысль Лу блуждала за гранью текста и даже за гранью сюжета. Ее заворожил некий сквозной символ женской судьбы, связующий воедино ибсеновские сюжеты, — Дикая Утка. Тень ее крыльев мелькает, как кажется Лу, за каждой женской историей.

Лу начала разворачивать мифотему Дикой Утки в форме сказки. Итак: *"Жил-был чердак… На чердаке люди держали всех пойманных животных и путем воспитания и надсмотра отняли у них охоту к свободной жизни. Корзина в углу скрывала благородство этих тварей, лишенных свободы. Дикая утка, таким образом, настоящая дикая утка казалась не только благородным, но и в то же время вызывающим жалость существом. Остаются ли они* ***дикими*** *птицами на чердаке? И неизбежна ли эта трагедия?". Чердак может быть рассмотрен здесь как брак и семья, как некое соглашение, но также и социосимволический контракт в целом со всей его трагической логикой. "Может быть, не выдастся такой счастливый случай, не разыграется буря, которая вырвет двери ее темницы… Так она и вырастет, проживет, состарится и умрет в каморке на чердаке".*

Саломе предпринимает исследование, чтобы выяснить для себя, возможны ли другие, не трагические развязки женского

вступления в брак. Она сопровождает это вопрошание шестью притчами о судьбе птиц, силою разных обстоятельств очутившихся в неволе.

Это истории компромисса или поединка с судьбой, и Лу пытается проникнуть в тайные пружины этих выборов. За каждым из них кроется своеобразное понимание смысла свободы. Разные версии свободы становятся для Лу шифрами женских судеб: свобода использовать плен в целях наслаждения, свобода иллюзий и мечтаний об иной жизни, свобода господства над другими обитателями чердака… Сюжеты этих притч располагаются как бы между двумя полюсами: между судьбой, которая ближе всего к идеалу Лу — это образ Эллиды из "Женщины моря", — и судьбой, которая более всего страшила и отталкивала ее — образ Гедды Габлер.

Чтобы понять, что же больше всего отталкивало Лу в судьбе Гедды, нужно иметь в виду, что Саломе никогда не представляла себе эмансипацию как постоянное и абсолютное бегство от социально установленных связей. И в этом причина ее радикального расхождения со всем феминизмом своей эпохи вплоть до обвинений ее в антифеминизме. Лу начинает с Норы — женщины, которая желает чуда, но живет в унижающих рамках общепринятого женского воспитания и условностей брака, где ей отведена роль игрушки, объекта для бесконечных манипуляций в руках мужа. И хотя Лу одобряет решение Норы оставить свое замужество, но она не считает такое решение моделью или образцом. Это малое изменение, которое только открывает, но никоим образом не решает вопрос обретения женщиной себя. Саломе интересовала не женская эмансипация, а трансформация, которая могла бы преобразовать партнеров в браке в андрогинную пару; она искала формулу, способную преобразить отношения борьбы в отношения целостности. Она понимала, что смысл отношений, в конце концов, не в скучном равноправии, а в чуде любви, *"той горячей, благоговейной любви, которая расширяет от обожания глаза ребенка в каждом из нас"*. Лу продолжает: *"Что является необходимым базисом в настоящем браке? Это правда и свобода"*. Но Гедда Габлер насмехается над этой центральной, органической идеей, как говорит Лу.

В сердцевине ее враждебности к Гедде лежит важное для нее различие между возвышенным эгоизмом (тем, который в ней находил Ницше и который "заставляет нас служить лучшему в нашей натуре") и заурядным эгоизмом тех, кто бросает вызов условностям ради самого вызова или самопотакания. Эту разницу, вероятно, недооценивал Рудольф Бинион, один из ее биографов, который подозревал, что враждебность Лу к Гедде

вызвана стремлением Саломе отгородиться от собственного подобия и что на самом деле Гедда Габлер и есть "небезызвестная генеральская дочь и профессорская жена". Он полагал, что образ Гедды мог основываться на историях, которые Ибсен слышал о Саломе. В контексте этого сближения Бинион к тому же упрекал Лу в разрушении способности Андреаса писать. Тем не менее анализ этого образа у Лу не походит всего лишь на желание размежеваться с двойником, хотя, быть может, именно потенциальная опасность "габлерства", так страшившая Лу, делает тон ее исследования в этом месте столь эмоциональным.

"Она (Гедда. — Л. Г.) *напоминает мстительного волка, на котором долгое время росла шкура овцы и который лишился своей хищной силы, только чтобы уберечь свою хищную душу. Обреченное на наиболее цивилизованное и обыденное существование, такое создание защищает себя яростно от любого риска; оно только играет бессильно со своей жаждой к свободе, дикости — так, как робкие руки играют с оружием…*

У нее нет цели, и она бы все равно не знала, как достичь ее, поэтому она вынуждена развлекать себя игрушками, которые, по крайней мере, помогают ей во время скуки, этого полнейшего отсутствия активности. Даже средний человек во всей своей обыденности более значителен, чем этот вид характера. Ибо он все еще способен испытывать стремление к более свободной жизни и потому примирять мир свободы и мир ограничений — или, по крайней мере, участвовать в битве, которая ведется между ними. Единственное же подлинное совмещение этих извечных противоположностей выражено в словах, которые спасли Эллиду: "Свободно и ответственно"".

Вообще, история Эллиды так интересна для Саломе именно тем, что здесь явственно и убедительно проступают очертания подлинной свободы, которая внутри нас, а не в условиях нашей жизни (вот он, основной пункт полемики с феминизмом!), той "тайной свободы", про которую говорил Пушкин. И обретение этой свободы, как и собственного духовного стержня, невозможно, по убеждению Лу, без мучений, кризисов и духовных страданий, единственно способных подтолкнуть к внутреннему превращению, — они создают условия алхимии души.

Эллида, женщина моря, вначале довольствуется тем, чтобы стоять, застыв, на берегу и "мечтать о катящихся волнах, на которых фокусничают опасность и красота и чья глубина прячет так много чудесного и одновременно чудовищного". Но тут на застывшую пассивность Эллиды наваливается любовь как болезненная страсть, подавляющая волю. Она так очарована дикостью и демонизмом ее тяги к незнакомцу, что это угрожает

ее поглотить. Поэтому она бежит в семейную жизнь с доктором Ванделем, обещающую безопасность и стабильность. Но она не может удовлетвориться такой жизнью, и то, что она покинула вовне, возвращается к ней внутренним адом фантазий и воспоминаний. Острота переживаний и их безысходность неустранимы до тех пор, пока Эллиде не удастся прийти к самоосознанию. Только когда муж дает ей свободу самостоятельно сделать выбор, с глаз ее падает пелена заблуждения: *"Свобода перестает мучительно манить, потому что она уже не манит издали — Эллида на свободе. Причина ее проблем лежит в гипнотически притягивающей дали, в демонически манящей неопределенности",* в то время как подлинный центр ее усилий должен быть сфокусирован на ее собственной воле и ответственности за свою судьбу. Некоторые биографы полагают, что в основу канвы шестой притчи (про Эллиду) был положен собственный опыт Лу — опыт ее брака как способ освободиться от чар Гийо и одновременно получить его благословение. Все же если проводить параллели такого рода, то здесь скорее напрашивается перекличка с историей с Георгом Ледебуром — осмысление возможных последствий **выбора судьбы:** ставка на внешнее или внутреннее преобразование жизни.

Это действительно была книга ее собственных переживаний, что позволило биографам назвать годы 1886-1897-й годами "дикой утки". В более широком смысле это была книга надежд целой женской генерации, связанной с революционными идеями и движением эмансипации. Ее анализ женских образов Ибсена принял форму психологического гобелена: Лу описывала движущие силы, лежавшие в основе напряжения каждой пьесы, а потом связывала их между собой, ища за этим потоком проявлений глубинный структурный механизм соотношения между свободой и необходимостью внутри каждой женской судьбы. Такая тактика игнорировала границы конкретного произведения, ибо целью Саломе являлся не литературно-критический анализ Ибсена, а создание собственного психологического концепта. Ибсеновские решения комплекса "дикой утки" Лу анализирует с таким поэтическим и эмоциональным запалом (вероятно, и вызвавшим неоднократное переиздание книги — вплоть до 1924 года), который вполне позволяет ощутить, насколько экзистенциально остро она сама переживала подобные состояния. Но Лу хочет вписать в судьбу "дикой утки" другие возможности, которых нет у Ибсена.

Открытие таких иных возможностей было для нее вопросом не только теории. Действительно, в рамках ее супружества

возникали ситуации, которые очень даже могли привести к трагическому решению, подобному принятому Ребеккой из "Розмерхольма", — белые кони, символы смерти, не раз "пролетали" через берлинский дом Андреасов. Х. Ф. Петерс пишет о том, что далеко не раз Лу с мужем были готовы к самоубийству и составляли завещание, однако этот факт не находит подтверждения в ее воспоминаниях. Кроме того, такое решение не согласуется с психологическим портретом Лу: она всегда старалась усмирить хаос чувств…

Путешествия были проверенным способом такого усмирения. И она будет путешествовать постоянно. Надолго или не очень возвращаясь в дом Андреаса. А он никогда не будет расспрашивать ее о путешествиях, ожидая, пока она сама расскажет о новых встречах и впечатлениях.

В 1894 году Лу отправляется в Париж. Там кипят политические страсти — убийство президента Карно, дело Дрейфуса. Жизнь богемы наполнена шумом и скандалами…

Лу была здесь счастлива. Жила в одной комнате с датской писательницей Терезой Крюгер (в будущем переводчицей нескольких разделов ее книги о Ницше на датский). Познакомилась еще с одним датским писателем — Германом Бангом, а также с Кнутом Гамсуном, уже известным тогда автором повести "Голод". Гамсун формулирует свою литературную программу в шумных докладах о психологии и поэзии, утверждая, что внутренняя территория души является сценой редкого динамизма. Лу интересуется театром, атмосфера сцены и культивирование игрового момента в жизни ее увлекают: однажды она переодевается цветочницей и продает на улице розы. Таков был Париж, его жизнь и его игра в жизнь. Парижские встречи и впечатления легли в основу романа "Феничка". Так, по мнению многих биографов, в нем отражено не лишенное курьеза знакомство с Франком Ведекиндом, автором "Пробуждения весны".

Ведекинд под впечатлением разговора с Лу, в котором она довольно смело высказывалась о свободной любви, пригласил ее к себе и… тут произошло недоразумение "в стиле Ведекинда". Он рассчитывал, что, решительная в теории, она не замедлит проявить себя на практике…

На следующий день он появился с букетом цветов и просьбой о прощении за нерыцарское поведение. Юта Тредер и некоторые другие исследователи полагают, что пресловутый образ "стервозной" Лулу у Ведекинда был создан не без намека на Лу Саломе. Эдакая утонченная месть. Однако эта версия не подкреплена достаточно вескими основаниями. Впрочем, Лу в

любом случае не осталась в долгу. Она оживила эпизод на страницах собственного романа и заставила своего героя, Макса Вернера, пережить в результате подобной ситуации мировоззренческий переворот, который, возможно, не успел в должной мере "ощутить" артистичный и необузданный Ведекинд.

Загнанный в угол собственными жесткими оппозициями восприятия — "гризетка или монахиня?" — Вернер бесплодно ломает голову над тем, что же из этих амплуа является маской, а что подлинной сущностью его новой знакомой. Поначалу он принимает Феничку за типичную интеллектуалку, и виной тому ее наряд — строгое черное платье, столь отличное от нарядов прочих посетительниц переполненного парижского кафе. Однако *"не таилось ли под этой одеждой, за этим открытым, одухотворенным лицом что-либо горячее и чувственное, могущее ввести в заблуждение только полного идиота? — Была ли это лишь его собственная фантазия, играющая с ним злую шутку, или Феня, напоминающая ему одухотворенность и стилизованную простоту фигур на картинах дорафаэлевой эпохи, лишь хотела бы казаться целомудренной, но не в силах утаить удивительных, опьяняющих ароматов цветов, выдающих ее с головой?"* Образ начинает издевательски двоиться, и замешательства Вернера, втайне мучительно пытающегося установить связь между "глубинными" и "поверхностными" качествами спутницы, не может развеять даже затяжная прогулка вдвоем предрассветными улочками Парижа. Ведь Феничка не намерена помочь ему определиться. А что если *интеллектуальность и сексуальность имеют одни и те же корни — эротические?* В конце концов ее озорные провокации заставляют его сделать выбор в пользу собственного фантазма. И здесь-то его подстерегает неизбежный конфуз. Впрочем, и Феничка раздосадована на свою "наивность", хоть и пытается оправдаться тем, что Вернер первый, кто воспользовался ее представлением о "братских" отношениях с мужчинами… Это недоразумение, однако, не помешает автору в итоге сделать их друзьями, а Макса даже Феничкиным конфидентом в ее сложных любовных коллизиях.

Историю с Ведекиндом можно было бы считать незначительным инцидентом, если бы не та рельефность, с которой она очертила все возможные следствия опасной "игры в понимание" с мужчинами. Эта история продемонстрировала Лу во всей гротескности, как под влиянием пробужденных ею иллюзий во властных натурах просыпается инстинкт к обладанию — духовному и не только. И все же глубинная непокорность Лу, ее вечное противостояние "присвоению себя" на любом уровне приподымают завесу над тайной ее сущности. Если угодно, Лу

была своеобразной Анти-Галатеей. Она упрямо не желала оживлять чью-то мечту, быть такой, какой ее хотели видеть. Она зеркально возвращала мужчинам содержание их фантазий и грез. И, столкнувшись с ними воочию, они вынуждены были рефлексировать по направлению к тайне своих идеалов. Натура Лу сопротивлялась любой формовке, она принципиально не способна была стать воплощением чужого идеала, она могла лишь его совершенно отразить. И потому этот возвращенный идеал всегда был бестелесным призраком. Причиняя боль своей неосязаемостью, он возбуждал в мужчине волю к осязаемой подлинности жизни. Этот волевой всплеск каждый реализовывал по мере масштабов собственной личности. Ницше он превратил в гения, Рэ — в святого. Собственного своего героя Лу сделала "психологом вечно-женского": он разгадал "сфинксоподобный" характер женщины, отбросив все идеализации и демонизации. Смыслом ее романа и было смешать все полярности, перепутать все категории, стереотипы и утвердить разнообразие, полифоничность живой женщины.

Потому Юта Тредер утверждала, что повествования типа "Фенички" взрывают дух времени изнутри.

"Феничка", однако, при всей ее программности не могла охватить всей палитры приключений Лу в Париже. Так, помимо литературного Парижа ее манят и совсем маргинальные круги. До нас дошли довольно отрывочные сведения об эпизоде с неким русским по имени Савелий, человеком крепкого телосложения, подозреваемым в соучастии в покушении на Александра II, отбывшим четыре года каторги в Сибири, который втянул Лу и ее подругу Фриду фон Бюлов в круг русской эмиграции. У Савелия в Париже была частная врачебная практика, и он был достаточно независим материально. Жарким летом 1894 года Лу решила поехать с ним в Альпы…

Жили они в шалаше на поляне в горах, питаясь сыром, молоком, хлебом и ягодами. Изредка только спускались вниз, в Цюрих, чтобы купить чего-нибудь более изысканного. Во время одной из таких вылазок Лу встретила Уильяма Бельша, старого знакомого, автора "Любви в природе" — так берлинская жизнь напомнила ей о себе, и привычные соблазны цивилизации вновь поманили Лу.

Эта история с русским эмигрантом была полна романтики, но не имела для Лу никакого продолжения. По возвращении в Париж ее ждут новые впечатления и новые встречи. И все же особенностью странствий Лу было то, что ее исполненные приключений блуждания имели свои границы и свои законы дления. *"Неожиданно для других и для себя самой я украдкой, без*

"до свидания" уехала из Парижа… избавилась от ботинок и чулок (чего нельзя было сделать в Париже) и оставалась очень веселой", — так в письме к подруге она описывает свое возвращение в дом мужа.

Лу перезимовала в Шмаргендорфе, работая над текстом *"Иисус — еврей",* а муж помогал Роазену переводить Омара Хайяма. На ее эссе о Христе с равным пылом ополчились и иудеи, и христиане. Но Лу на этом не останавливается: под впечатлением бесед с мужем, который в то время занимался изучением исламской секты бабистов, она пишет большую работу об исламе. Ее религиозное мировосприятие во многом, вероятно, было обусловлено воспитанием и разноязыким пестрым окружением в доме, — в Петербурге времен ее детства перемешались народы и вероисповедания. Это наверное способствовало позднейшему интересу Лу к различным конфессиям, различным системам мышления, различным культурным традициям. Ее волновали сакральные символы, оживлявшие души разных культур. *"При входе в мечеть люди снимали обувь и, погрузившись в тишину, становились на колени на красивых коврах, начиная молитву. Я припоминаю мое впечатление от одной ночи в Турции. Наши окна выходили на узкие улочки, заполненные толпами народа; доносился шум повозок, крики ослов, и вдруг совершенно внезапно наступила такая тишина, будто вся Вселенная затаила дыхание. Перед мечетью, которая поднималась на фоне ночного неба, словно палец к Господу, провозглашал славу муэдзин: "Аллах Акбар". Это зрелище заставило меня долго размышлять о сущности их религии",* — писала Лу.

Так прошла зима. Но с весенним пробуждением в силу вновь вступает ее страсть к блужданиям в "междустранье" в надежде пересечь границу "невозможного". Наиболее верной ее спутницей в этих вылазках обычно была Фрида фон Бюлов, известная исследовательница Африки, с которой Лу познакомилась еще в 1892 году в Берлине. Фрида была исключительно самостоятельной личностью, по натуре склонной к меланхолии, хотя и с сильной мужской волей и витальным инстинктом. В своей книге "В стране обещаний" она увлекательно описала для европейцев мир колониальных отношений, который ей довелось узнать после смерти брата, управляя его плантациями. Лу проводила с ней время в непрестанных дебатах и, быть может именно благодаря этой ее выразительной натуре спорщицы, не видела для себя более подходящей спутницы для интеллектуально-кочевых приключений.

Весной 1895 года она предприняла с ней путешествие в Петербург, а затем в Вену. Познакомила Фриду со своим братом

Евгением, на тот момент уже смертельно больным, рассказав ей, как он по просьбе матери хотел вытащить ее из "аферы" с Ницше. Вена нравилась Лу, она писала: *"Если сравнивать атмосферы различных крупных городов, то можно сказать, что в Вене как нигде сочеталась жизнь духовная с эротизмом"*. Кроме того, Вена была гораздо толерантнее Берлина, который тут называли "гнездом разбойников". Ее внимание привлек здесь Артур Шницлер, — как писала о нем критика, будущий австрийский Ибсен. Чернобородый элегантный врач и известный уже литератор по-своему очаровал Лу. Но она была "отведена" от него "магией" вскоре появившегося Рильке, о чем наш рассказ пойдет дальше. И все же, при всей любви Саломе к новым творческим встречам, ее вновь тянет в тишину творческой кельи. *"Все выглядит так, словно мне хочется остаться, но приходит такой час, когда я должна уйти прочь"*. Уходы и возвращения были желанны для нее — стремление к общности и к обособленности были естественны как вдох и выдох. По возвращении домой, в Берлин, она издали увидела Андреаса, стоящего под фонарем со своей любимой собачкой Лотхен, которая ее шумно приветствовала. *"Этой ночью дома мы долго не спали"*.

Подводя черту ее упрямых поисков и вечных возвращений, мне кажется, смысл этих блужданий, их движущий мотив можно отчасти угадать благодаря ее маленькому стихотворению, предпосланному в качестве эпиграфа книге "Моя жизнь":

Жизнь в глубине себя — поэзия.
Безумны мы, тратящие ее изо дня в день,
От этапа к этапу.
Впрочем, в своем неосязаемом единстве
Она живет, она творит для нас поэзию.
Как же далеки мы от древней заповеди:
"Преврати свою жизнь в творение искусства".
Мы не стали еще собственным творением искусства.

Женщина, разбудившая колокола

И со стен монастыря на нас смотрела сама Вечность. Кресты и купола раз-учились удивляться, а большой колокол стал большим философом и замолчал… Когда мы превратимся в пыль звезд, камни Земли еще будут хранить тепло наших первых и всех последу-ющих шагов. Не умрут только слова, глухие отзвуки былых поступков, память, но когда-нибудь ночь прошлого наступит и для них… Сожми все, что случилось с нами, в маленькую точку на этом листе. И большего не надо.

И. Рокотов

Как часто близкое по духу
Рождало призрачную связь.
И в камень превращало грязь.
И краски возвращало слуху.
И музу, желчную старуху,
Рабу блаженных и калек,
На свежий вдохновляло век.
И. Лепшин

"Совершенная женщина растерзывает, когда она любит; я пока не готов отдать себя на заклание", — Фридрих Ницше.

Насколько можно считать этот афоризм постскриптумом к его отношениям с Лу Саломе? Что есть совершенство?.. И действительно ли такая женщина способна "растерзать"?

Жак Нобекур, знакомя французских читателей с феноменом Саломе и ее творческим наследием, отрекомендовал ее всей франкоязычной аудитории как "вдохновителя и палача Ницше и Рильке". Причем слово "палач" в устах Нобекура — предельно философски нагруженная метафора: безошибочно угаданное приведение в исполнение именно той казни, которую каждый сам уже выбрал для себя. Она была подобна той Судьбе из ницшевского афоризма, которая никогда не ошибется поднести к твоим устам тот сорт яда, который будет смертелен именно для

тебя.

"Двух вещей ищет настоящий мужчина: опасности и игры. И потому он ищет женщину как самую опасную игрушку, — утверждал Ницше. И добавлял: — Лабиринтный человек никогда не ищет выход, но всегда Ариадну". Вольно или невольно Лу показала, что Ариадна, разыгрывающая "опасную игрушку", сама становится лабиринтом.

Юный Рильке просил у Судьбы иного:

> Тысячи диких вопросов ношу я в себе.
> Когда к ним взываю, возвращается лишь эхо,
> но не ответ.
> Эти вопросы подобны безмолвным башням…
> Но когда-то на них проснутся колокола
> и день праздничный будет объявлен.
> И потому ищу я Ту, которая раскачает колокола
> и невидимые веревки возьмет в свои руки.

Эти строки написаны за месяц до его встречи с Саломе. Вот в сердцевину какого ожидания вступила Лу 12 или 14 мая 1897 года в театре на площади Гертнер в Мюнхене. Точная дата знакомства затерялась в ее памяти, но 14 мая она уже писала о Рильке в своем дневнике: о том, как они гуляли всю ночь — она, этот молодой поэт и известный мюнхенский архитектор Август Эндель, — обсуждая только что увиденную ими премьеру "Темной ночи" фон Шевитха и еще море всякой всячины.

На самом же деле это знакомство имело свою предысторию: только потом, сопоставив все нюансы и колорит речевых оборотов, Лу окончательно убедилась в том, что новый ее знакомый и автор анонимных стихотворных посланий, которые она регулярно получала в своем пансионате "Квисторп" (где жила вместе с Фридой фон Бюлов), — одно и то же лицо. Рильке же, после официального знакомства с обеими подругами, не преминул сразу же похвастаться в письме к матери, что он приятельствует с "двумя превосходными женщинами" — "знаменитой писательницей" (Лу) и "известной исследовательницей Африки" (фон Бюлов).

Уже на следующий день после знакомства он передаст Лу через посыльного письмо, на этот раз не анонимное. Хотя оно и начинается довольно церемонным обращением "милостивая государыня", в нем ощущается темперамент огромной юношеской страсти. Поводом, который придал ему смелость написать это письмо, явилось, по его мнению, совершенно мистическое совпадение в понимании ими обоими нерва религиозной

гениальности Христа (имелось в виду опубликованное за год до их встречи эссе Саломе *"Иисус — еврей"* и его собственные, так впоследствии никогда и не напечатанные "Видения Иисуса"). Мысли, изложенные в этих двух трудах, показались ему до невозможного конгениальными."…Без ложной скромности, — писал он, — из-за безусловной силы Ваших слов мое произведение обрело в моих ощущениях освящение и санкцию".

Так юный Рене Мария Рильке приходит к Лу Андреас-Саломе, как некогда девочка Луиза — к пастору Гийо. Так ученик восторженно выбирает своего Учителя — предмет неизменного обожествления и самой пронзительной земной нежности. Так фанатичный богоискатель приходит к человеку, уже готовому стать Священником. И Лу Саломе действует так, как действовал когда-то Гийо — как "тормоз и обещание" одновременно. Смысл такого обещания невозможно вместить в предложение: чтобы его развернуть, понадобилось три года испепеляющей страсти и пожизненная духовная близость.

Видимо, поначалу только эта невольная ассоциация — ее собственная история с Гийо — заставила Лу обратить внимание на юного адресата. К подобным знакам поклонения Лу привыкла, сами по себе они не могли взволновать ее. Она восприняла с изрядной долей скепсиса его воистину вулканическое извержение на тот момент отнюдь еще не самого совершенного лиризма. Не мог вызвать у нее энтузиазма и кричащий возрастной разрыв: Лу было тридцать шесть, а Рильке — двадцать один год.

В том первом подписанном письме он умоляет ее о новой встрече в театре, а спустя четыре дня посылает ей свои "Песни страсти" и признается, что "бежал по городу с розами, дрожа от невыносимого желания и страха встретить где-нибудь Вас". Через несколько дней он перейдет с ней на "ты" и, как родник пробивает русло, его безудержная любовь пробьет себе дорогу.

Минует еще три недели, и они станут неразлучны.

Рильке — Саломе, 8 июня, из Мюнхена в Мюнхен:

"Моя весна, я хочу видеть мир через Тебя, потому что тогда я буду видеть не мир, а Тебя, Тебя, Тебя!"

Апокалиптический темп их неистового сближения — и, как покажет жизнь, бесконечного приближения двух личностей, невзирая на все их кризисы, — немало изумил и современников, и биографов. Как же быстро мог подчинить столь юный Рильке эту женщину, которая могла и умела причинять боль, убивать любое движение чувства одним трезвым жестом, уходить не прощаясь и без слов оправдания! Годами державшая на неумолимой дистанции многих весьма незаурядных поклонников и даже пятидесятилетнего профессора-мужа, она впервые стала

покорной, — покорной этому мальчику, несмотря на то, а может именно потому, что он сам хотел быть только ее рабом…

"Ты — мой праздничный день. И когда я во сне спешу к Тебе, я всегда несу в волосах цветы. Я хотел бы вплетать цветы Тебе в волосы. Какие? Нет ни одного достаточно трогательного и простого цветка, чтобы он был достоин Тебя. В каком мае я мог бы Тебе его сорвать? Теперь, однако, я верю — на Твоих волосах всегда есть венок… или корона… Никогда я не видел Тебя иной, нежели такой, на которую мог бы молиться. Никогда Тебя иначе не слышал, как только такой, в которую мог бы верить. Никогда иначе по Тебе не тосковал, как только думая, чту мог бы вытерпеть за Тебя. Никогда не желал Тебя иначе, как только посметь бы преклонить пред Тобой колени. Я Твой, словно скипетр, являющийся собственностью королевы, — но я не делаю Тебя богатой. Я Твой, как последняя бледнеющая звездочка, принадлежащая ночи, хотя ночь о ней не знает и не догадывается о ее блеске".

И вопреки своему изначальному скепсису и сомнению относительно его поэтического дара Лу согласится с его ненасытностью, хотя всегда, не обольщаясь, будет отдавать себе отчет в том, что он жаждет ее и как возлюбленную, и как ту, которая будет одаривать его материнской любовью. Она сыграет обе эти роли с полной отдачей.

С терпением и виртуозностью меняя формы стимулирования его таланта, их дозировку, она будет чередовать материнские увещевания с насыщенно-психологическими пояснениями, прибегая, в конце концов, к совсем простым, но весьма действенным проявлениям своей учительской харизмы.

Он не сопротивлялся: "Зависит от Тебя, кем я стану. Ты одариваешь мою ночь мечтами, утро — песнями, даешь цель моим дням и солнечную устремленность моим пурпурным сумеркам.

Буду Тебе это часто и беспрерывно повторять. Это признание будет во мне дозревать с каждым разом все выразительнее, все четче. Пока не сумею яснее ясного Тебе это объяснить и Ты меня окончательно не поймешь — и тогда настанет наше лето. И будет длиться в продолжение всех дней Твоего Рене".

Она потребует, чтобы он изменил даже это имя: неопределенность и бесформенную интимность Рене превратил в твердое романтическое — Райнер. Так в свое время сделал Гийо: вместо повсеместного Луиза и непроизносимого для него русского Леля именно он дал ей во время конфирмации новое имя Лу. Новое имя всегда влечет новую Судьбу: эту истину Саломе однозначно установила для себя, несколько раз выпустив

из глубины себя на волю новое имя-личность и вновь возвратив обратно, в себя, эту мифоличность, ассимилируя ее.

Много лет спустя Марина Цветаева восторженно напишет Рильке: "Ваше имя хотело, чтобы Вы его выбрали!" Наверное, она так никогда и не узнала, чья рука управляла этим выбором. В 1926 году, пораженная известием о его смерти, Цветаева писала:

Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой:
Райнер — умер?

Известный американский германист Бернгард Блюм в своей знаменитой речи в Сан-Франциско, посвященной столетней годовщине со дня рождения поэта, сказал: "Если возможно приписать перелом в развитии Рильке одному человеку, то им была Лу Андреас-Саломе, вдохнувшая в него веру в себя, — ту веру, которая ему была столь необходима, — и не просто так, а потому что любила его… Когда весной 1897 года Рильке познакомился с Лу, он был не более чем амбициозным литературным импресарио, которому нечего было предъявить, кроме бесчисленной заурядной продукции, в лучшем случае — талант чисто формальный: вторичный, сентиментальный, без видимой силы, без идеи и подлинной философии. В то же время Лу превосходила Рильке, и не только по возрасту: необычайно интеллигентная, вполне освоившаяся в свете, в лучшем смысле слова опытная, обладающая связями, она оторвала Рильке от провинциального горизонта его начальных опытов".

Лу была совершенно непримиримой ко всему сентиментальному и заимствованному. Рильке же хотел стать для нее великим и, что бы там ни утверждали биографы, признавал ее бесспорное превосходство.

Я был как дом, где после пожара
Убийцы лишь заснут иногда,
Пока изголодавшиеся приговоры
Их не прогонят куда-то в поле;
Я был как город где-то над морем,
Угнетенный заразой…

Вначале Саломе считала главной проблемой Рильке недостаток технического мастерства, которое требуется для выразительной передачи впечатлений. Спустя некоторое время, уже после проникновения, углубления в его творчество, Лу

начала верить, что проблема на самом деле в том, что нет художественной формы, достаточной для того, чтобы сполна выразить тот тончайший, глубиннейший пласт опыта, к которому Рильке имел доступ. Рильке хотел предпринять перевод всего бытия в поэзию. Но помимо этого, подлинного и неподъемного, труда он должен был любой ценой доказать своей семье, которая хотела видеть его офицером или юристом, что он — поэт.

Рильке до конца его жизни будет сопровождать кошмар тех почти шести лет, которые он мальчишкой, по воле отца, провел (с его впечатлительностью!) в атмосфере казарм низшей и высшей военных школ. Только благодаря плохому состоянию здоровья ему удалось оставить школу и вернуться в Прагу — город, где он родился и который в силу многих причин также воспринимал как нечто чужеродное. Ребенком Рене воспитывался в склочной семье, которая позже распалась совсем, среди тяжело скрываемой бедности вопиюще культивирующей фальшивый достаток. Характер мальчика, его нервная система с детства были заложниками того блефа, который постоянно источался из семейных недр, а именно легенды об аристократическом происхождении. На самом деле его предки не принадлежали ни к аристократам, ни к знати: его отец вел свой род от каинских крестьян, а мать, Софья Энц, была дочерью купца, царского советника. Посему свой брак она с самого начала считала ошибкой и мезальянсом и старалась жить отдельно от дома, в Вене. Смерть первой дочери окончательно углубила отчуждение в семье: мать, покинув сына и мужа, полностью ушла в некую экзальтированную религиозность. Потеряв надежду сделать сына военным, отец попытался принудить его к обучению торговому ремеслу, но и этот замысел провалился по причине неслыханного упорства юного Рене, бредившего поэзией. К моменту встречи с Лу он был автором трех поэтических сборников ("Жизнь и песни", 1894; "Жертвы Ларам", 1895; "Увенчанный магнолиями", 1897).

Рильке, известный позже как поэт строгой аскетичной формы и неслыханной самокритичности, бесконечно переписывавший и поправлявший свои труды, в юности буквально заваливал журналы плодами своего пера, большинство из которых он сам списал позже в небытие, никогда не включая их в свои сборники. Более того, поглощенный идеей "выхода поэзии в народ", юный Рильке написал литературное письмо (при финансовой поддержке своей невесты Валерии, девушки с большим достатком и связями), патетически озаглавленное "Прочь ожидания!". Рильке — его единственный автор, редактор и критик — рассылал это письмо бесплатно в больницы, ремесленные и продовольственные союзы, раздавал перед театрами, в литературных и артистических

клубах, к которым принадлежал, после чего это произведение умерло своей естественной смертью так же, как и провалившаяся на сцене поэтико-политическая драма "В будущем". Отнюдь не сломленный этими неудачами, юный пассионарий возвращается в Прагу: там он разрывает отношения со своей невестой и в конце сентября 1896-го отправляется в Мюнхен, дабы записаться на отделение философии местного университета. Через несколько месяцев на его жизненном пути появится Лу Андреас-Саломе.

К моменту их встречи она уже десять лет была замужем, ее брак уже пережил немало коллизий, но в любых перипетиях своей личной жизни Лу не забывала заботиться о добром имени и реноме Андреаса. Негласные правила этого нетрадиционного союза включали незыблемое условие: воздержанность от скоропалительных решений и поступков.

Столь же предусмотрительно она будет вести себя и в период любви с Рильке. Когда первое лето своей новорожденной неистовой страсти они решают провести вместе, их общий выбор падает на Вольфратсхаузен, маленький городок в Верхней Баварии, в те времена еще полный покоя и безмятежной тишины. Однако "вместе" не значит без свидетелей: об этом Лу тщательно позаботилась — с ней была неизменная Фрида фон Бюлов, а также довольно близкий друг, мюнхенский архитектор Август Эндель. Эндель, большой оригинал и инициатор новой волны в архитектуре (так называемого "стиля юности"), характерным почерком которого были динамичные, словно возникающие на глазах деревянные фигуры, украсил крышу их домика, вмурованного в склон горы, флюгером, над которым развевалась хоругвь из грубого льняного полотна. На этом взвившемся над землей "стяге любви" он вывел черной краской название каникулярного приюта Лу и Рильке: "Луфрид", или "Гавань Лу", подобно знаменитому вагнеровскому "Ванфриду". Название было идеей Рильке, и позже оно будет перенесено на фронтон виллы в Геттингене, где супруги Андреас жили до конца дней.

Старательность, проявленная Лу в том, чтобы никогда не было недостатка в доброжелательных свидетелях их встреч, была оружием самообороны: так рассеивались сплетни, предметом которых они становились, где Лу, естественно, доставалась роль бессердечной соблазнительницы, опутавшей сетью молодого поэта, годившегося ей в сыновья. Весьма кстати эти свидетели оказались и тогда, когда, под осень, ее здесь навестил муж, обеспокоенный, вероятно, новой добычей в ее несчетной коллекции настоящих и фальшивых бриллиантов-друзей. Однако попрощался он с ней успокоенный: этому болезненного вида поэту, в сущности еще ребенку, нужна была, по его мнению,

исключительно материнская опека.

Это было, конечно, упрощение: в любви к Лу Райнер испытал запредельную боль непереносимой двойственности сыновнего и мужского чувства — он желал стать для нее великим и одновременно не смел превзойти ее величия.

"Стремлюсь раствориться в Тебе, как молитва ребенка в радостном гуле утра. Стремлюсь забрать в мою ночь благословение Твоих рук на моих волосах и ладонях. Не хочу разговаривать с людьми, чтоб не утратить эха Твоих слов, которые как флаги трепещут над моими. Не хочу после захода солнца смотреть на другой свет — только от пламени Твоих глаз возжигать тысячи жертвенных огней.

Не хочу ни одного поступка, который бы Тебя не прославлял, ни одного цветка, который бы Тебя не украшал, не благословлю ни одной птицы, которая не знает дороги к Твоему окну, не стану пить воды из источников, которые не знают отражения Твоего Лица. Не хочу ничего знать про время, что было в моей жизни до Тебя, про людей, что были до Тебя. Пусть живут счастливо те, кто умер для меня, ибо из-за них дорога к Тебе была такой долгой и полной страданий…"

Прибыл к ним с визитом и Якоб Вассерман (в доме которого состоялись те самые поэтические декламации, в ходе которых Лу с изумлением обнаружила, что декламируемые стихи напоминают ей стиль ее анонимного адресата). Позже — когда Рильке стал уже известным писателем — Вассерман с гордостью, хотя и не без иронии повторял, что он был их первым сватом.

По приглашению Лу появился также некий русский литератор из Санкт-Петербурга, которому предстояло давать им обоим уроки русского языка, литературы и истории, однако имени которого Лу не называет, говоря, что он оставил после себя недобрую память. Не пытаясь дознаться, чем восстановил против себя Лу этот литератор, обнародуем все же его имя (поскольку его участие в русском "перевоспитании" Лу и подобном же "перевоспитании" Рильке было достаточно значительным) — это был Аким Волынский, русский переводчик Канта, издатель сочинений Вагнера, редактор популярного в России журнала "Северный вестник". Волынский, как и все прочие из числа перечисленных, находится на памятном фото у беседки на фоне Луфрида.

Так промчалось их первое лето, и в начале сентября Лу выехала в Галлейн. Рильке доверяет свои любовные заклинания почте, отправляющейся вслед за ней, в неведении, что за используемым им адресом кроется место встреч Лу с сыгравшим немалую роль в ее судьбе Фридрихом Пинельсом, человеком, к

советам которого она не раз прислушивалась, — у его сестры Бронции.

Доктор Пинельс, врач и возлюбленный Лу, являлся также наиболее частым спутником ее многочисленных путешествий. Он был на семь лет моложе Саломе и после восьми лет, прошедших со времени их первой встречи, все еще не терял надежды на то, что Лу разведется и он женится на ней. Он ни разу не упоминается по имени в мемуарах Лу, однако эта история ее жизни отражена в одном из наиболее популярных ее романов — "Феничка".

В нем Саломе рисует судьбу женщины, которая, по ее замыслу, не должна иметь ничего общего с судьбой женских образов Ибсена: это некий вариант непримиримой полемики с мэтром — литературной, психологической и экзистенциальной. Любовь, брак, свобода, вынужденные тайны, — короче, традиционный образ женщины — не может подойти Феничке, и поэтому темой романа является перелом этого традиционного образа. Ведь привычное клише соответствует женскому стереотипу, вырабатываемому мужской культурой. Но если путь женщины сходит с путей, которые ей выдумала культура, и при этом ее человеческие возможности начинают всерьез разворачиваться, она явно попадает в проблемы, которые эта же культура предназначила мужчине. Теперь она должна еще больше страдать, потому что теперь она сама в ответе и расплате за все — это значит, что она должна справиться с войной образов в самой себе и преодолеть конфликт с культурой. Феничка сопротивляется мнимому или-или, которое подвергает женщину идеализации или сатанизации. Проблемы подвижного игрового пространства женщины должны переживаться не в фантазийных эксцессах и не в умственных построениях, но в действительной жизни. В то время как Феничка счастлива спорадическими встречами со своим любимым, он попадает в сети старого образца: он хочет жениться на Феничке, чтобы **всегда иметь ее возле себя.** Инверсия маскулинной культуры: как мужчина считает женщину "отдохновением воина", так, возможно, Феничка отдыхает от своих собственных душевных войн и напряжений у мужчины, которого она любит. И все же архетипы культуры вызывают в героине разлад: Феничка вдруг беспричинно расстается со своим возлюбленным, но в своих воспоминаниях остается надолго благодарной ему. *"Я никогда не была верна людям, но я всегда верна воспоминаниям"* — это кредо-признание Лу заставит ее саму сжаться от горечи, когда в 1934 году она будет писать "письмо" к Рильке, умершему восемь лет назад, облекая свои мысли и чувства в форму интимного послания к уже

не живущему. *"…Мы стали супругами раньше, чем друзьями, а сдружились не по выбору, а повинуясь узам заключенного в неведомых глубинах брака. Это не две нашедшие друг друга половины, а тот случай, когда целое с трепетом узнает себя в другом целом. Нам суждено было стать братом и сестрой, но еще в те мифические времена, когда инцест не превратился в грех…"*

Рильке же, после отъезда Лу в Галлейн, пишет ей, подробно рассказывая о том, чем занимается: упорядочивает корреспонденцию, читает книги о Рембрандте и Веласкесе, чтобы потом в дождь долго гулять тропинкой, которой они вместе путешествовали сразу же по прибытии в Вольфратхаузен. Лу научила Райнера тому, что сама переняла от мужа: бегать босиком по траве и на рассвете подглядывать за зверьем и птицами. Впервые благодаря ей он так сильно сблизился с природой, что с той поры будет презирать типичное литераторское невежество в этой области.

Не в силах больше без нее обходиться, он решается отправиться вслед за Андреасами в Берлин и поселиться поблизости от ее дома. Таким образом снова, как в эпоху Ницше и Рэ, они начинают жить странной троицей, сохраняющей столь же странную симметрию — Рильке моложе Лу на столько же, на сколько Андреас ее старше.

Здесь, на вилле Вальдриден в Шмаргендорфе, Райнер, приходя к Лу, надевал голубую русскую рубаху с красной оторочкой под шеей, помогал ей рубить дрова для топки и, моя кухонную посуду, просиживал целыми днями на пороге, когда у нее была какая-либо работа. Она готовила ему его любимые в то время блюда: кашу в горшке и украинский борщ.

Для Рильке это не было ни игрой, ни стилизацией: одновременно он упорно учил русский и увлеченно знакомился с географией. Не будучи слишком уверенным в своем профессиональном будущем, зная, что литературой едва ли удастся прокормиться, он, хотя и записался в университет прослушать курс лекций по истории искусства и этике, в то же время прилежно упражнялся в русском языке. Вместе с Лу они решили, что в будущем ему следует зарабатывать переводами русской литературы, которая в Германии в то время пользовалась особой популярностью.

Весной 1898 года Рильке выехал в Италию, навестив по дороге свою мать, отдыхавшую на озере Гарда. Здесь он — по желанию Лу — по свежим следам пишет заметки, прославившиеся позже как "Флорентийский блокнот". Сама же Лу в это время, подчиняясь своей весенней горячке путешествий, очутилась в Сопоте. Ведомый любовной тоской, Рильке

неожиданно нагрянет туда к ней, надеясь, что его примут так, как он нафантазировал себе в посылаемых ей стихах. Воистину, прав был Борис Пастернак:

Любимая — жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых…

Увы, его ждало разочарование. Лу не была сторонницей столь экзальтированных порывов: "И вновь я был пред Тобою самым жалким нищим на самом заброшенном пороге Твоего существа, которое покоится на широких и безопасных колоннах".

И все же несколько ее слов могли развеять любое отчаяние — в конце концов лишь сумасшедшему поэту дано "таянье Андов влить в поцелуй":

"Будь всегда такой ко мне, Любимая, Единственная, Святая. Позволь, чтобы мы вместе подымались в гору под названием "Ты" — туда, где высокая звезда… Ты не являешься моей целью. Ты — тысяча целей. Ты — всё".

Она действительно сумела стать всем — пристанищем и палачом, который, казня, превращает в героя. Ее образ означал — тот, кто идет за ней, должен стать сильней, чем она:

Так ангел Ветхого Завета
Искал соперника под стать.
Как арфу он сжимал атлета,
Которого любая жила
Струною ангелу служила,
Чтоб схваткой гимн на нем сыграть.

Чудо под российским небом

Колокола, земная Афродита...
Пылало море штормом вековым,
За краем света дверь чуть приоткрыта,
Но веер сомкнут жестом волевым.
Перетекая каплею последней,
Прошедшего взрывались купола,
И там в углу, под битым старым щебнем,
Сквозь сон невнятно вспыхнули слова.
Елена Герасимова

Лу обрисовывает Райнеру самую близкую цель: путешествие в Россию. Решено было, что они отправятся туда в 1899 году, на Пасху, вместе с Андреасом. Однако осуществление плана требовало немалых усилий, в том числе и финансовых. Рильке не мог рассчитывать на помощь своей семьи. Доходы Андреаса в это время зависели главным образом от количества уроков персидского, турецкого и арабского языков, которые он давал дома. Поэтому Лу решила пополнить общую кассу сама: она пишет для издательства Готта цикл новелл, которые выйдут в 1899 году под названием "Дети человеческие", а также множество очерков, критических статей, эссе для популярных журналов. Всякий раз, когда она видела перед собой всерьез захватывающую ее цель, Лу развивала бешеную работоспособность: за это время она опубликовала двенадцать рассказов и около двадцати статей.

Наиболее сильной и неожиданной из них была увидевшая свет в 1898 году в "Ди Цайт" статья "Русская философия и семитский дух", в которой она предложила весьма необычный обзор современной интеллектуальной жизни в России. Она признается, что изумлена накалом происходящей там борьбы за развитие философской и религиозной мысли. И в этом метафизическом поиске, по мнению Лу, огромную роль должен сыграть опыт живущего в России народа, *"который развил в себе талант абстрактного Богопознания до уровня гениальности",* — еврейского народа. Нельзя представить себе ничего более противоположного, писала Лу, чем русский дух с его наивной образностью и художественной конкретностью и талмудический

дух с его тягой к предельным абстракциям. *"Еврейский дух воспринимает телескопически то, что русский дух видит через микроскоп".* И все же, в отличие от немцев, которые стремятся схватить любое явление клещами понятий, евреи смотрят на него глазами, полными любви и энтузиазма. Именно этим они близки молодой культуре русских. Однако в силу целого ряда социальных особенностей России *"еврейская диалектическая сила получает там изощренно острое направление".* Лу предсказывает, что эти два ментальных типа, отправляющиеся от противоположных полюсов культуры, встретившись в России, смогут окончательно постичь друг друга и проникнуть друг в друга.

Здесь слышны отголоски идеи Ницше, которую он наверняка обсуждал с Лу: "Мыслитель, на совести которого лежит будущее Европы… будет считаться с евреями и русскими как с наиболее подвижными и вероятными факторами в великой игре и борьбе сил".

"Последовавшее столетие прошло под знаком этих трех национальных вопросов — немецкого, русского и еврейского. В свете этого опыта проницательность и одновременно ограниченность анализа Лу поражают. Она предвидела великую духовную вспышку, которая последует, как только русская и еврейская духовность начнут "проникать друг в друга". Но она не угадала специфической социальной и революционной направленности нового варианта талмудизма, равно как и той странной уязвимости, которую проявит в этом случае русская культура", — так подытожил метафизический анализ Лу А. Эткинд.

Позднее эти же проблемы будет решать Николай Бердяев в своем знаменитом "Истоке и смысле русского коммунизма", и многие его идеи будут перекликаться с идеями Лу, заодно преодолевая тот налет идеализации, который Россия обретала в глазах влюбленных в нее иностранцев и эмигрантов — таких как Лу и Райнер. На эту же мифологизацию русской культуры будет нападать и Лев Толстой, во время первой встречи в московском особняке критикуя идеи Лу в присутствии нерешительно-молчаливых свидетелей их полемики — Андреаса и Рильке.

Тем не менее их любовь к стране "вещих снов и патриархальных устоев" пошатнуть не удалось.

Фрида фон Бюлов, посетившая их в Берлине, нашла Лу и Рильке столь погруженными в изучение русского языка, истории и литературы, что, когда она встречала их за обедом, "они бывали так утомлены, что не могли поддерживать разговор". В результате этих неистовых занятий Рильке не только мог читать в оригинале

Достоевского, но и переводить русских поэтов (Лермонтова, Фофанова, крестьянского поэта Спиридона Дрожжина, с которым они встретятся лично во время своей второй поездки), а также "Чайку" и "Дядю Ваню" Чехова. Вместе они пишут пространный очерк о Лескове и его отношении к религии для "Космополиса". И вместе, склонившись над красным томиком путеводителя Бедекера, они будут чертить будущий маршрут своей второй поездки в Россию — на этот раз вдвоем, без Андреаса.

Седьмого мая 1900 года они отправились поездом из Берлина. В жаркий полдень 1 июня они с багажом оказались на Курском вокзале у состава, отходящего в Тулу.

Вот какими они запомнились тогда десятилетнему Борису Пастернаку, который спустя много лет именно этой картиной откроет свою книгу воспоминаний: "Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слыхал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых.

… Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкиваются тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтобы поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда".

Не навсегда. Публикуя в 1931 году свою "Охранную грамоту",

Борис Пастернак посвятит книгу памяти Рильке. Ему же принадлежат и лучшие переводы Райнера.

И все же причудливым образом именно любовь к России, которая их предельно сблизила, в конце концов разлучила их. Что-то вновь, как обычно, выталкивало Лу из ситуации, в которой ей грозила стабильность или пресный вкус счастливой развязки.

Именно такие женщины порой способны раскачать творческого мужчину, словно колокол, до той опасной черты, за которой он начинает звенеть — его дар обретает голос. И с этого момента в их отношения врывается солнечный ветер, который полощет их одежды и развевает волосы, но вместе с тем в них закрадывается тень опасности: эти отношения оборачиваются "балансированием на лезвии ножа".

Если бы понадобилась метафора, посредством которой поверх всех деталей и событий можно было бы вытянуть мистический нерв этого убийственного и волшебного лета, самыми точными здесь оказались бы слова Арсения Тарковского:

Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

* * *

Прошло двадцать лет с тех пор, как Лу покинула Россию, и хотя она регулярно здесь бывала, навещая в Петербурге семью, в этот раз она словно впервые увидела множество вещей. Этой свежестью и остротой впечатлений она была обязана своему товарищу по путешествию: удивление и в то же время уважение вызвало у нее восхищенное, порою просто набожное отношение Рильке к пейзажу и к людям. Даже зная его склонность к экзальтации, она не могла не поддаться силе его восприятия. И все же эти впечатления имели для них совершенно разное значение. Лу переживала это путешествие, совпавшее по времени с ее поздней женской зрелостью, как свой возврат — к юности, к истокам, к реальности. В ее дневнике появляются столь незнакомые ей раньше желания покоя и уединения. *"Я хотела бы остаться здесь навсегда",* — записывает она и добавляет поэтическую импровизацию, которая начинается словами: *"Родина*

моя, которую я столь надолго забросила", — и заканчивается так: *"Россию слепил ребенок и положил к ногам Бога".* И даже когда в 1923 году, после того как революция прервет все ее связи с семьей и с родиной, выйдет ее роман *"Родинка",* она, посвятив его Анне Фрейд (*"той, которой я хотела рассказать о том, что любила больше всего"*), скажет там: *"Не удаляй из своей души его, вселенского жителя, кочевника, ребенка твоей далекой Родины…",*

Поначалу Лу, прорабатывая с Райнером материал их уроков, восхищалась тем, как потрясающе четко он накапливал в памяти сведения, с которыми впервые сталкивалось его сознание. Однако в стремлении все запомнить он отбирал понятия и факты, наиболее близкие ему, и эта метода в конечном итоге приводила к возникновению достаточно идеализированного образа России, что, помимо воли, ее слегка раздражало, ведь, по большому счету, он и к ней относился с таким же безоглядным восхищением, так что Лу начинало казаться, что он попросту переносит на Россию свою любовь к ней.

Это вызывало у нее некоторую досаду: она полагала, что когда его чувство к ней перегорит, тогда и Россия в его поэтическом воображении останется просто одним из эпизодов. Она ошибалась — она не сумела оценить по достоинству чувство Рильке: он навсегда останется предан этой культуре. В последние дни его жизни с ним будет его русская секретарша, и даже хвастаясь в письме к ней (в августе 1903 года) таким большим приобретением, как близость к Родену, он добавит: "То, что Россия — моя отчизна, это факт, принадлежащий к той великой и тайной благодати, которая позволяет мне жить, но мои попытки добраться туда посредством путешествий, книг и людей заканчиваются ничем и являются, скорее, отступлением, а не приближением. Мои усилия — словно передвижение улитки, но однако случаются минуты, когда эта несказанно далекая цель повторяется во мне, будто в близком зеркале".

Порою экзальтация и поклонение Рильке казались ей преувеличенными и даже нездоровыми. Все же еще киевские две недели оба переживают под общим знаком какого-то чудесного опьянения (тем более что, приехав на эту землю, они вновь попали в весну — из-за разницы календарей).

Вот как Лу описала встречу Рильке с Киевом в своем дневнике: *"… он стоял, и взгляд его плыл над Киевом. Сегодня я лучше знаю и чувствую, что он тогда видел, о чем думал, о чем мечтал в расцвете своей молодости… Его глаза блуждали долиной, которая лежала перед нами в красноватом тумане от садящегося солнца. Словно под охраной киевских высот, увенчанных золотом таинственно сияющих куполов, под небом в бледных*

звездах, лежала невыразимая грусть… Но правдивая юность пела в его взгляде… его готовность к борьбе, к жертве, к боли, его тоска вместе с вечером стелилась над киевской землей, чтобы пылко обнять ее: "Научи меня твоей песне, научи меня твоему страданию!""

Траекторию своей судьбы Рильке проводил через две символические для него точки, через два города-мифа — Париж и Киев. Париж стал основанием "моей воли к изображению, моей жажды самовыражения", а Киев — "основой тех моих впечатлений и переживаний, которые безусловно пояснили мне мир".

Однако Париж всегда имел для него привкус буржуазного урбанизма, он был городом отчуждения людей.

О той боли, которую причинял ему этот город, буквально кричат его парижские письма к Лу.

Впрочем, и первым впечатлением от Киева было глубокое разочарование, вызванное ощущением "европейскости" города, который показался ему похожим на Париж и Рим. Но достаточно было нескольких дней — и пришла влюбленность. И когда Лу и Рильке любовались панорамой над Днепром, он признался ей, что у него возник план переселиться сюда навсегда, ибо этот город "близок к Богу": "святой город, где Россия сотнями церковных колоколов рассказала о себе миру".

Но самое сильное впечатление на Рильке и Лу произвели пещеры, где они успели побывать во время своего киевского визита несколько раз — и с паломниками, и в одиночку. Запись в дневнике Рильке гласит: "Сегодня часами путешествовали подземными ходами (не выше человека среднего роста и шириной в плечи) мимо келий, где в святом блаженстве одиноко жили святые и чародеи: сейчас в каждой келье стоит открытый серебряный гроб. И тот, кто жил здесь тысячу лет тому назад, лежит, обернутый в дорогую ткань, — нетленный. Непрестанно наплывает из темноты толпа паломников со всех концов света. Это святейший монастырь всей империи. В наших руках горящие свечи. Мы прошли все эти подземелья раз вдвоем и раз с народом".

Проходя мимо келий соборных старцев, они заговорили о легендарном Несторе-летописце, который в лаврских стенах создавал свою "Повесть…". Не исключено, что в этом разговоре и зародилось у Рильке решение перевести "Слово о полку Игореве". Год спустя этот замысел был осуществлен, и с тех пор рилькевский перевод по праву считается лучшей из немецких версий этого шедевра…

17 июня они плавали на пароходе "Могучий" до Канева, где посетили могилу Т. Г. Шевченко (Лу и Райнер читали "Кобзаря" в

русском переводе). Днепровские пейзажи настроили Рильке на философский лад: "…Эти курганы, могилы минувших поколений, словно застывшая волна протянулись вдоль степи. И в этой стране, где могилы являются горами, люди стали пропастями — глубокими, темными, молчаливыми. Слова их — только шаткие мостики над их бытием. Изредка поднимаются черные птицы над могилами. Изредка ниспадают на людей этих дикие песни, чтоб исчезнуть в них, как исчезают птицы в небесах. Во всех направлениях — бесконечность".

И тем не менее их отчуждение нарастало: во время волжского плавания взаимное напряжение зависло в воздухе и стало буквально сенсорно ощутимым. Стремясь преодолеть, взорвать это отчуждение, Лу попытается прибегнуть к их последнему общему языку — поэзии: она напишет стихотворение "Волга", в котором перенимает и варьирует манеру любовных признаний Райнера, адресованных ей:

Хоть и издалека – мой взор тебе поможет,
Моя река, ты издали мне снишься,
Как вечное сегодня, не проходишь,
И плеск твоей воды набегает на мои веки.
Пусть берегов твоих нельзя коснуться -
Мои бы сны шли за твоим потоком,
Как пробуждение давно забытой грусти
На берегах твоих безмерно одиноких.

Как прозрачно в этих стихах сквозит ритм рилькевского послания к ней самой:

Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух – я все равно услышу,
Очей лишусь – еще ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык – я поклянусь губами.
Сломай мне руки – сердцем обниму.
Разбей мне сердце – мозг мой будет биться
Навстречу милосердью твоему.
А если вдруг меня охватит пламя
И я в огне любви твоей сгорю –
Тебя в потоке крови растворю.
(1897. Перевод А. Немировского)

И из этой переклички вырастает причудливая идентификация

Лу с Волгой, которая ей самой начинает казаться символом и продолжением ее женской сущности…

В своих воспоминаниях *"С Райнером"* Лу довольно подробно описывает события и детали их путешествия, с веселой теплотой рисует их "избу-стоянку", но при этом умалчивает, как она пожелала уединиться и перебралась в пустую каморку на солому, чем весьма удивила хозяйку. Рильке, так легко поддающийся депрессии, принял это как дурное предзнаменование для их любви. После этой первой ночи Лу втайне отметила в дневнике: *"Заноза под ногтем и в нервах"*. И дальше: *"Ничего не хочу приукрашать. Обхватив голову руками, я тогда часто пыталась понять саму себя"*.

Это настроение гораздо позже эхом отзовется в "Дуинских элегиях".

Кто не сидел, охваченный тревогой,
Пред занавесом сердца своего,
Который открывался как в театре,
И было декорацией прощанье.

Выгнал их из этой деревушки страшный ливень, превративший всю околицу в непроходимое болото.

Этот ливень Рильке потом увековечит в своей "Книге образов":

Я зачитался. Я читал давно.
С тех пор, как дождь пошел хлестать в окно.
Весь с головою в чтение уйдя,
Не слышал я дождя.
Я вглядывался в строки как в морщины
Задумчивости, и часы подряд
Стояло время или шло назад.
Как вдруг я вижу, краскою карминной
В них набрано: закат, закат, закат.
Как нитки ожерелья строки рвутся,
И буквы катятся куда хотят.
Я знаю, солнце, покидая сад,
Должно еще раз было оглянуться
Из-за охваченных зарей оград...
И если я от книги подыму
Глаза и за окно уставлюсь взглядом,
Как будет близко все, как станет рядом,
Сродни и впору сердцу моему!
Но надо глубже вжиться в полутьму

и глаз приноровить к ночным громадам,
И я увижу, что земля мала
Околице, она переросла
Себя и стала больше небосвода,
А крайняя звезда в конце села -
Как свет в последнем домике прихода.
(Перевод Б. Пастернака)

Не успевают они вернуться в Петербург (26 июля), как Лу, уже на следующий день, оставляет Рильке одного и уезжает к брату в Финляндию, в их летнюю семейную резиденцию в Ронгасе. И хотя Райнер, поселившись в гостеприимных покоях пансионата "Централь", ежедневно работает в библиотеке, встречается с литераторами и художниками, он чувствует себя как брошенный на произвол судьбы ребенок. Четвертого августа он пишет ей об уже уничтоженном "отвратительнейшем письме", которое ему продиктовали тоска и молчание Лу, добавляя: "Возвращайся поскорее!.. Ты не представляешь, как долго могут тянуться дни в Петербурге…" Однако она не вернулась сразу же после его горячего призыва: возмущенная, она смяла и бросила в печку его "детское" письмо. Лишь 22 августа они, временно примиренные, выехали в Берлин…

"...Я догоню тебя во мгле"

Любить – идти. Не смолкнул гром.
Топтать тоску, не знать ботинок,
пугать ежей, платить добром
за зло брусники с паутиной...
Б. Пастернак

На изнанке полей мыши выгрызли ночь.
Их работа точь-в точь совпадает с моей.
Разве может тоска опрокинуть любовь?
Ты часы из песка для меня приготовь.
В. Жулай

Берлинский экспресс набирал скорость, неся в чреве своем, подобно киту, странную пару. Вспышки отчуждения и близости пульсировали в тесном пространстве купе. Бледный юноша и женщина с волевым разлетом бровей играли в свободные ассоциации. *"Вы говорите слово, и партнер говорит любое слово, какое придет в голову. Мы так играли довольно долго. Неожиданно мне пришло в голову объяснить, почему Рильке захотел написать свою повесть о военной школе, и я ему сказала об этом. Я ему объяснила природу бессознательных сил, которые заставляют его писать, потому что они были подавлены, когда он был в школе. Он сначала засмеялся, а потом стал серьезным и сказал, что теперь он вообще не стал бы писать эту повесть: я вынула ее из его души. Это поразило меня, тут я впервые поняла опасность психоанализа для художника. Здесь вмешаться — значит разрушить. Вот почему я всегда отговаривала Рильке от психоанализа. Ибо успешный анализ может освободить художника от демонов, которые владеют им, но с ними вместе могут уйти и ангелы, которые помогают ему творить".*

Могла ли она действовать иначе? Ведь в Райнере Лу встретила свое собственное раннее состояние души — мечтательное, облачное, далекое от действительности. Рильке дал ей возможность еще раз вернуться в эту оставленную далеко

позади точку собственного развития.

В любви к Рильке жило что-то от любви к самой себе как покинутому и мечтательному ребенку, который выпал из семейного гнезда. В свое время Гийо стал для нее лекарством от безудержных нелепых фантазий. Дисциплина, работа и постоянная "дрессура фантастического в логическое" — таковы были составляющие его рецепта. Но Лу хочет найти еще более радикальное лечение, которое бы, в отличие от "метода Гийо", не порождало идеализации "врача".

"Единственным человеком, — писала она, — которого я любила и при этом никогда не критиковала, был Гийо, хотя в действительности я любила в нем идеал. В нашей юности идеалы, к которым мы стремимся, проецируются в личность, и мы любим эту личность как оживший идеал. Позже, когда мы начинаем лучше отличать людей от их взглядов, мы перестаем искать идеального человека, скорее, мы хотим объединиться с другой личностью в общей внутренней преданности тому, что мы почитаем и чем восхищаемся. Исчезает тот тип любви, когда один человек стоит на коленях перед другим, — теперь они оба стоят на коленях плечом к плечу".

Этот опыт любви, который ей довелось прожить дважды: и в роли неофита, и в роли Великого Посвященного, — в чем-то очень похож на инициацию великих мистерий древности. Осмысляя этот феномен, Лу напишет новеллу *"Рут"* — о девочке, которая ни к чему столь сильно не стремится, как понравиться любимому ментору и, по большому счету, стать им. Эту книгу Лу Рильке особенно любил, и позже его дочь получит имя Рут, хотя матерью ее будет не Саломе, а художница Клара Вестхофф.

* * *

В поезде, вспоминает Лу, они чувствовали себя окончательно чужими друг другу: Рильке сказал, что хочет уехать из Берлина — ему нужен новый круг людей. "Хорошо", — коротко отвечала Лу по-русски. Анализируя позднее этот кризис, Лу объясняла свое побуждение расстаться тем, что Рильке мог понять и исцелить себя лишь творчеством, а творил по-настоящему, только если переставал зависеть от предмета — в данном случае от нее. Он мог излечиться единственно "беспредметной любовью". Помнится, в самом начале их встречи, когда они заговорили о своем понимании Иисуса, она говорила ему, что религиозного гения отличает "беспредметная религиозность": не сотворения новых божеств добивается религиозный гений, а нового отношения к ним, и лишь благодаря последнему становится очевидным бесспорный факт единства Бога и Человека, то, что человек есть смертный бог, а бог — бессмертный человек. Образцом настоящей

религиозности является любящий человек, который к тому же неустанно вновь и вновь пытается освободить свою любовь от иллюзий.

Пытаясь освободить собственную любовь от иллюзий, Лу честно призналась себе, что ее *"желания уснули надолго",* а ее заботы о Райнере переместились *"по ту сторону того, что объединяет мужчину и женщину и что никогда не возвращается обратно"*.

Рильке уезжает к Вогелеру в Бенкендорф ("дом под березами") — артистическую колонию вольных художников, не приемлющих академического искусства. В одном из посланий их затухающей переписки он сообщает о своем кризисе, нарастании внутреннего конфликта, а также о намерении жениться на художнице Кларе Вестхофф (хотя его дневниковые записи дают основание полагать, что его подлинной любовью того времени была Паула Беккер, талантливый скульптор, боль от ранней смерти которой прорвалась в знаменитом рилькевском "Реквиеме").

В довольно жестком письме, озаглавленном *"Последнее послание",* Лу вспоминает, как она была для Райнера матерью, и говорит, что, как мать, хочет выполнить последний долг, рассказав ему о диагнозе, который поставил Рильке с ее слов один врач: этот поэт, сказал он, может повторить судьбу Гаршина*. Лу требовала от Райнера твердости и роста: *"несмотря на разницу в возрасте, которая существует между нами, я все время… росла, я все дальше и дальше врастала в то состояние, о котором с таким счастьем говорила тебе, когда мы прощались, — да, как ни странно это звучит, — в мою юность! Потому что только теперь я молода, и только теперь я являюсь тем, чем другие становятся в восемнадцать: полностью самой собой"*. Она предостерегает его от того, чтобы в его неустойчивом душевном состоянии брать на себя ответственность за других и вместо подлинного взросления вновь искать свою пристань под женским крылом.

Не таится ли за этой жесткостью ревность женщины? С точки зрения аналитика Лу оказалась права: этот брак не продлится и года и распадется сразу же после рождения дочери. И все же кажется, что ее пером двигала не только проницательность психолога. Расставание с Рильке далось ей нелегко: у Лу развивается невроз сердца с обмороками. Причиной болезни, помимо любовных переживаний, было страшное известие о гибели Пауля Рэ в Оберэнгадине, в Селерине, где они когда-то провели вместе лето. Лу предпринимает попытку самоубийства. Воистину, 1901 год, начало XX века, был самым тяжелым для нее

временем.

Доктором, на которого она ссылалась в последнем послании, был, разумеется, Пинельс. Он крайне озабочен ее физическим состоянием: ухаживает за ней как врач и убеждает ее вести здоровый образ жизни, тем более что, как выясняет Лу, у нее будет ребенок. Пинельс, который по-прежнему желает видеть ее своей женой, хочет навестить Андреаса и просить его о разводе. Лу намерена помешать ему во что бы то ни стало, несмотря на то что возле него и с ним ей всегда было легко и спокойно, она отдыхала и наслаждалась моментом, как Феничка. Они путешествовали запоем, проводя вместе долгие месяцы; Лу любила его семью и считала себя почти что ее членом: новорожденную племянницу Пинельса она восприняла как собственного ребенка (*"Возможно, она похожа на тех, которых бы я могла иметь"*). Однако и эта история приобретает трагический оборот: Лу теряет ребенка, упав во время сбора яблок с лестницы. Известно, что ни до, ни после того у Лу не было собственных детей (в преклонные годы она удочерила внебрачную дочь Андреаса и их экономки и помогла ей унаследовать свое с Андреасом состояние). Это еще одна точка тайны в ее судьбе: отношение Лу к материнству было сложным и противоречивым. Вот каковы ее размышления об этом, сохранившиеся на страницах поздних воспоминаний:

"И все же, по ту сторону всех проблем, в любви женщины возникает роковая точка, когда она сознательно хочет осуществить перерождение в себе детства того человека, который является для нее желанным. Те, кто не может этого пережить, вне всяких сомнений, отрезаны от того, что является наиболее драгоценным в женщине. Я вспоминаю удивление тех, кому в ходе длинного разговора на эту тему, будучи уже в летах, признавалась: "Вы знаете, я никогда не рисковала пустить ребенка в мир…" И я уверена, что эта установка берет начало не в моей юности, но возникла в более зрелом возрасте, где дух уже измерен опытом таких вопросов. Я хорошо знала Доброго Бога, раньше аиста: дети, пришедшие от Бога и вернувшиеся к Богу, если они умерли, — кто, если не Он, мог им ***позволить родиться?*** *Я никоим образом не хочу сказать по этому поводу, что утрата Бога, несмотря на ее важность, вызвала такое потря-сение, которое разрушило во мне мать. Нет, ничего из сказанного мной не касается меня лично. Но нужно как следует осознать, что "рождение" приобретает очень разный смысл в зависимости от того, рождается ли ребенок из ничто или из Всего. Пустить ребенка в мир — дело настолько банальное и легко предусматриваемое, что, сопровождаемая чувствами и личными*

желаниями, эта простота помогает людям преодолеть чрезмерную щепетильность; ничто также не мешает им извлечь из этого весь тот поверхностный оптимизм, который сообщает нам веру в то, что наши дети реализуют позд-нее все наши иллюзии на их счет, и который нас так напрасно обнадеживает. Но все потрясающее в порождении человеческого существа происходит не из моральных или вульгарных расчетов, но из того факта, что это переводит нас из индивидуального состояния в состояние творческое, что это радикально лишает нас всех личных определений, знаменуя самый творческий момент нашего существования. Следовательно, нужно хорошо понимать, что среди всех верующих именно ***мать*** *должна была бы быть наиболее религиозной: согласно матери,* ***единственное*** *место, где Бог должен сохранять свое присутствие, — чело того, кто ею рожден. Бог не может нисходить на землю ни к одной Марии, которая была бы только женой Иосифа, не будучи в то же время воплощением девственной воспримчивости, для которой зарождение жизни есть последняя загадка всего существующего".*

Что испытывала Лу, нося под сердцем ребенка Пинельса? Довелось ли ей самой пережить ту "роковую точку", когда она желала осуществить перерождение и новое детство любимого мужчины?..

Пинельс вдруг не выдерживает больше своей роли врача-любовника, которого Лу иногда навещает по своей воле и вновь бросает на произвол судьбы, — он разрывает отношения. Ему надоели эти путешествия, которые больше напоминали бегство от Андреаса, чем вояж влюбленной пары. Норвегия, Швеция, Петербург, Испания, Балканы и дальше, дальше, — ему стало чудиться нечто лихорадочное в этом галопе. И хотя широкий круг не видел ничего предосудительного в том, что элегантную даму сопровождает врач, самому ему все больше претило такое амплуа: когда, в очередной раз возвратясь в Вену, Саломе по обыкновению доставила вещи к Земеку (так называли Пинельса близкие) в отсутствие хозяина, он, придя домой, приказал перевезти их в ближайшую гостиницу. Так был закончен двенадцатилетний эпизод ее жизни, связанный с Пинельсом.

Позднее, когда Лу приезжала в Вену к Фрейду, они иногда встречались с Земеком — но это была уже другая Лу, целиком поглощенная психоанализом. Ее американский биограф так заканчивает эту историю, говоря о Пинельсе: "Почти четверть века он носил образ Лу в сердце. Только семья знала причину его меланхолии". Не создав желанной семьи с Лу, доктор Пинельс до конца дней (он умер в 1936 году) оставался холостяком.

Два с половиной года длилось молчание между Лу и Рильке.

Наконец Райнер не выдерживает и несмело, деликатно, но с надеждой и той детской открытостью, которая всегда так подкупала ее, прерывает эту заколдованную паузу. И, словно рухнувшую плотину, обломки обид и недосказанностей затопит потоком новых писем. Эта переписка составляет огромный том, и порой эти письма будут лучшими поэтическими достижениями их обоих. Они будут писать друг другу до последнего дня, обращаясь друг к другу словом "любимый(ая)", которое по негласному договору они будут писать по-русски.

"Лу, любимая, ведь в твоих руках покоятся мои первые молитвы, о которых я так часто думал и так часто находил в них поддержку издалека. Потому, что они так полнозвучны, и потому, что им так покойно у тебя (и потому, что о них никто, кроме тебя и меня, не знает), — потому я мог найти в них опору. И мне хотелось бы иметь право приехать и приложить другие молитвы, которые возникли с тех пор, к тем, к твоим, в твои руки, в твой тихий дом. ***Ты пойми, я чужестранец и бедняк. И я пройду; но в твоих руках должно остаться все, что однажды могло бы стать моей родиной, если бы я был сильнее.***

Райнер".

На фоне длинной вереницы женщин, любивших Рильке, Лу всегда будет оставаться единственной — непререкаемым авторитетом даже в оценке этих спутниц. Она подружится с Кларой Вестхофф, и та будет часто гостить у нее вместе с дочерью.

В разгар войны, в марте 1915 года, Райнер умолит Лу приехать к нему в Мюнхен, где он жил в то время с подругой, молодой художницей Лулу Альберт-Лазар, страстно желавшей познакомиться с Лу. Эта юная художница, младше Лу на тридцать лет, в 1952 году издаст свои воспоминания о Рильке, где опишет и свои впечатления от встречи с Саломе. Больше всего ей хотелось бы разгадать тайну гипнотического воздействия "роскошного тигриного взгляда Лу". Она тщетно стремилась понять, что Рильке, столь отличный, по ее мнению, от Лу, мог столь сильно ценить в этой странной женщине, сочетавшей "сильную чувственность с чем-то чересчур умственным". "Витальность этой русской, ее жизненная сила, существовавшая в ней помимо всей ее интеллектуальности, безусловно, наиболее магически действовали на него", — напишет она в своей книге. Лу прибыла в Мюнхен вместе с бароном Эмилем фон Гебсаттелем, еще одним ее поклонником, молодым последователем Фрейда, и "с момента ее приезда наши дни были сплошь заполнены ее программой… Рассматриваемое отдельно, каждое из этих собраний могло быть интересным, но взятое

вместе это сумасшедшее попурри вызывало у меня головную боль".

Впрочем, для самих Лу и Райнера все происходящее в Мюнхене было озарено особым, не видным постороннему глазу светом. "Ты только подумай, Лу, мне казалось, что Добрый Бог исчерпал для меня свою милость, но вдруг, представляешь, я совершенно незаслуженно получаю экстрагонорар от издательства "Инзель"… И поэтому ты должна, должна, должна быть моим гостем! Я надеюсь, что мне не нужно исхитряться, дабы убедить тебя в том, что мой довод о существовании Бога является бесспорным, не правда ли? Скажи мне, ну разве я смогу сделать свою жизнь в будущем разумнее и глубже — ежели таковая меня еще ждет, — не начав ее с нашей совместной встречи?" — так он ждал ее.

"Любимый Райнер, ведь случилось же, что закончился последний день в Мюнхене. Я не увижу тебя больше. И все-таки я всегда буду думать о том, что когда-нибудь счастье общения с тобой свершится где-то в иных сферах, даже если мы о них ничего не знаем. Никогда прежде я не говорила тебе, как однажды с необычайной ясностью ощутила, что чувство нашей внутренней связи так необъятно выросло во мне, что стало почти явью, — и мне даже почудилось, словно я чувствую тебя на расстоянии всего нескольких улиц от меня. Когда мы шли с тобой в последнее мюнхенское утро, я хотела рассказать тебе об этом наваждении, но не смогла. Прощай, Райнер, любимый мой, и спасибо за все. Подарив мне целую эпоху моей жизни, ты даже не знаешь, как горячо я ее переживала", — так они прощались.

Они беседовали в письмах о Шпенглере и Шелере, книги которых он прислал ей в подарок ко дню рождения: *"Знаешь, под этой повсеместно признанной большой философией Шелера есть в нем что-то, что побуждает его к столь же неистовому поиску спасения, как тебя",* — отзывалась она, попутно сообщая, что Макс Шелер, автор знаменитого "Положения человека в космосе", стал завсегдатаем ее геттингенского домика. А к Пасхе Райнер всегда посылал в ее "протянутые ладонями вверх руки" свои новые стихи. Лу искренне сознавалась, что она всегда немного завидовала этому необъяснимому чудотворчеству Рильке — способности спасать себя стихами от терзавших его "демонов" тоски и страхов. *"Тебе должно было в этом повезти, потому что в тебе абсолютно все претворяется в образ. Перед тобой одно откровение, и этому нет конца".* Шутливо сетуя на то, что судьба обделила ее столь целительным даром и она вынуждена искать спасения в психоанализе, Лу тем не менее в 1912 году всерьез отговорила Райнера от намерения пройти курс у аналитика. Риск

оставить за врачебным порогом не только свои проблемы, но и спонтанные всплески вдохновения казался ей неоправданным. Для поэта разлад с самим собой является неизбежной жертвой Молоху творчества. В результате этих обсуждений Рильке так и не довел до конца переговоры с уже было найденным врачом. Но всего лишь месяц спустя, словно подтверждая прогнозы Лу, под его пером начали рождаться "Дуинские элегии".

Однако Лу была известна еще одна тайна исцеления — кроме стихов. Она называла ее переломом. *"Твое тело знает об этом переломе даже еще раньше, чем Ты сам, — тем знанием, которым обладает только тело — так бесконечно верно и непосредственно, что может на некоторое время даже войти в новое противоречие с душой. Знаешь, как это можно распознать? По глазам — по ним, которые выхватывают из тысяч очертаний один-единственный образ, который "еще не любили", потому что они* ***жаждут любить,*** *ломают отведенные природой границы (припоминаешь, что Ты когда-то мне об этом рассказывал?) и — одним взглядом вступают в брак.*

И не только в поэтическом смысле, но и в том прямом, телесном смысле, вплоть до волнения в крови: возбужденная кровь ударяет в глаза, принося боль и напряжение, как если бы хотела в замешательстве превратить их в очаг плоти, в котором скрыто ***телесное*** *чудо оплодотворения.*

Дорогой мой, дорогой, старый Райнер, мне кажется, что я не должна была бы вообще об этом писать, но в конце концов это не только писание, поскольку одновременно я чувствую, как будто бы мы сидим где-то рядышком (как в Дрездене над книжкой, когда нам обоим внезапно захотелось вернуться в Мюнхен), прижавшись друг к другу, как дети, что-то шепчущие друг другу на ухо — что-то о большом страдании или еще о чем-то, что пробуждает доверие. Мне хотелось бы еще много писать и писать об этом и говорить Тебе и говорить — не потому, что так уж много об этом знаю, а потому что я (как женщина, чувствующая определенным образом иначе, чем Ты) слышу всем своим существом глубокие новые тоны Твоего сердца. ***Не могли бы мы, не должны были бы мы, не хотели бы мы встретиться где-нибудь — где-нибудь на половине дороги?"***

Конец ее письма в действительности напоминает колокольный звон — набат и нежный перезвон одновременно: она требует от него **жить всегда в любви,** а значит, жить вечно, — и в этом ее требовании нет и тени личной заинтересованности, корыстности чувств — ведь она ждет от него выбора в пользу Любви не к себе, а к любой женщине, которая будет готова пробудить его сердце. И эта концовка письма удивительным

образом напоминает чудесную балладу В. Высоцкого:

И душам их дано бродить в цветах,
Их голосам дано сливаться в такт
И вечностью дышать в одно дыханье,
И встретиться со вздохом на устах
На хрупких переправах и мостах,
На узких перекрестках мирозданья...

Всякий раз, когда в мире свершается нечто подлинное, все нити времен приходят в движение. **И оживают мифы.** Каждая влюбленная пара воскрешает Тристана и Изольду. "У всех земных влюбленных со щеки струится одинаковый Господь" (М. Кискевич). Великий и таинственный синхронизм мироздания заключается в том, что "прошедшее и грядущее свершаются **сейчас**". И все времена и сюжеты становятся хрустальным эхом друг друга. И потому строки, написанные сто лет спустя молодым киевским поэтом, нежданно "попадают в такт" тех мыслей и чувств, которые кружили головы гулявшим по киевской брусчатке Райнеру и Лу.

Нежны весны киевские, красивы
холмы зеленые, взмывающие ввысь.
И воздух сладок для каждого дыхания
и широта днепровских вод
пронзительным небом ясна,
и стреловидные мосты
над бездною вод легки.
Все, что таилось ночью – открылось днем.
Так и я до тебя был мертв и во
тьме, но пришла ты и наступил
день и я воскрес: прежде
меня ты есть!
Я чутко ждал и услышал, меня
не было, но я – стал. Ты причина
моего пробуждения.
А. Советов

Эротическое, слишком эротическое…

Весь круг бессилия и счастья,
Все дни, что вечностью прошли,
Весь вещий ужас сладострастья,
Вся соль, вся радуга земли!
В. Брюсов

Наше повествование с неумолимостью приближается к некоему внутреннему рубикону в жизни Лу, когда, как ей показалось, на дне "алхимической реторты" наконец-то блеснул желанный "философский камень". Она обрела наконец свой давно искомый "символ веры". Ей шел пятьдесят первый год, но она переживала полное обновление и была счастлива начать все сначала. Именно сейчас в ней должен был распуститься дар, который Лу всегда в себе предчувствовала. Эту революцию она назвала "событием Фрейд".

Мир психоанализа воистину стал для нашей героини волшебной страной зазеркалья. Погрузившись в пучину **бессознательного** с его экзотической живностью, она, наконец, очутилась в подводном царстве, сокровищами которого давно бредила. Будучи волшебным зеркалом своих исключительных собеседников, она давно и страстно жаждала заглянуть "по ту сторону зеркального стекла", где за тоненькой пленкой амальгамы вершится таинственная алхимия душ. Не удивительно, что когда фрейдовский психоанализ открыл для нее дверь в этот мир, он бесповоротно занял в ее душе место ее новой абсолютной религии. Лу с головой погрузилась в новую доктрину, неустанно практиковала, постоянно публиковала новые эссе и статьи и так увлеклась этой наукой, что даже надолго оставила беллетристику. Писательство и раньше не было для нее всепоглощающей страстью. По ее словам, она писала лишь для того, чтобы справиться с очередной неотступно тревожащей ее загадкой. А рукописи из сейфа доставала только в случае особо острых материальных затруднений. Поэтому, говорила она, ее новеллы разбросаны по всему миру и их практически невозможно собрать: они так и остались в руках ее друзей, в чьих домах были написаны во время ее путешествий. Теперь способом решения загадок станут для нее психоаналитические эссе и статьи. Последняя из них (опубликованная в "Венском

психоаналитическом альманахе") имеет характерное название: *"Больной всегда прав!"* Странным образом психоанализ откроет в Лу источник незнакомой ей прежде душевной мягкости, способности к состраданию. Теперь, говорит она, я скорее склонна спрашивать не у больного, почему он болен, а у здорового, какой ценой он здоров.

Возможно, что уже весной 1895 года Лу имела в Вене короткую беседу с отцом психоанализа, предупредив его о своем визите через Шницлера или Пинельса. Во всяком случае, одна из ее венских знакомых вспоминала, как Лу поспешно прервала беседу с ней, говоря, что торопится на встречу с Фрейдом. Но тогда еще не завершился процесс внутреннего созревания — Лу как раз в то время открыла для себя путешествия как метод самопознания и самолечения, — и в ее жизни должны были произойти некоторые другие события и постижения, чтобы в 1911 году эта **встреча** по-настоящему состоялась.

Во-первых, Лу должна была обрести *"свой маленький дом после большого Отечества"*: это произошло с ней, когда супруги Андреас в 1903 году переселились в Геттинген, где Карл получил профессорство и кафедру. Местность вокруг напоминала Лу волжский пейзаж, и она наконец ощутила, что обрела "укрытие". Здесь у нее был дикий сад и мансарда-кабинет, в которой было что-то "пещерное и лесное". Листва большой липы перед окнами образовывала как бы гардины, ветви цветущей груши каждую весну врывались прямо в окно ее кабинета. Стены, обтянутые голубым шелком, большие медвежьи шкуры, украшавшие пол, простые еловые полки и большой прочный рабочий стол, картина на стене, подаренная Генри Вогелером, художником молодежного стиля, и маленькие фотографии Рильке — так в отличие от Райнера она, невзирая на все свои продолжающиеся путешествия, создала точку стабильности в своей судьбе. Когда-то она учила его, что преимущество женщины можно сформулировать благодаря метафоре "улитки". Если мужчина становится кочующим странником мысли, подобно Ницше, он абсолютно бездомен, ибо он отвергает всякое духовное и материальное пристанище. Женщина же всегда носит свой дом внутри себя — такова ее конституция, и она никогда не бывает духовно бесприютна, поскольку не отторгает от себя ни одну из идей, а обживает каждую как дом.

Во-вторых, прежде чем окончательно прийти к психоанализу, Лу должна была для себя продумать до конца особенности духовного устройства полов. Судьбоносной в этом отношении оказалась завязавшаяся в 1910 году дружба с Мартином Бубером, одним из крупнейших философов XX века. По его заказу Лу

написала свою знаменитую *"Эротику"*. Читая ее сегодня, невозможно не заметить созвучия глубинных интуиций Лу идеям русских философов серебряного века, особенно мистической философии всеединства Вл. Соловьева. Так, она говорит о невозможности полного атеизма у женщин, потому что женщина *"не может быть безразличной к любви"*. Любовь же, в том числе и половая, по-разному переживается мужчиной и женщиной в силу женской целостности и мужской расщепленности — на сексуальное и эротическое. Если святость для мужчины ассоциируется с аскетизмом, то для женщины, как доказывает Лу, говоря о Мадонне и Марии Магдалине, святость — это вершина ее эротической сущности. Секс для нее не момент удовлетворения, а приближение к тому мистическому состоянию, которое Лу называет словом *"всё"*: это *"аффективная идентификация со всем существующим"*, слияние с целостностью универсума. *"Мужчина,* — пишет она, — *который способен к "сальному", мгновенному удовлетворению своей сексуальности, безо всякого вовлечения других чувств, злоупотребляет дифференцированностью своей физической конституции… Этот механический, почти автоматический характер удовлетворения придает процессу некое уродство.*

Чем более недифференцирована сущность женщины, чем неотъемлемей ее устремленность к интимности и чем выраженнее интенсивное взаимодействие всех устремлений, тем более полно это обеспечивает женскому эротизму глубинную красоту… Парадоксально, но менее концентрированный, более рассеянный по всему существу эротизм объясняет большую свободу, которой наслаждается женщина по отношению ко всему, что лежит вне ее".

Эротическое *"всё"* Саломе удивительным образом перекликается с идеей "всеединства", рожденной в недрах русской философии. Русские источники были ей хорошо знакомы (она отзывалась о Владимире Соловьеве как об *"одном из самых характерных представителей византийской России"),* и вряд ли западные ученые ее круга заметили, что, долгое время будучи плавильным тиглем всех основных тенденций европейской мысли, Лу в конечном счете вливает их в основное русло русской культуры. Неизвестно, читала ли она Н. Бердяева, но наверняка подписалась бы под его словами: "У мужчины пол более дифференцирован, у женщины же он разлит по всей плоти организма, по всему полю души". Вообще, согласно Лу, женщина живет в намного более непосредственном, углубленном и вовлеченном отношении к своему телу, и потому посредством женщины яснее, чем посредством мужчины, проявляется тот

факт, что *"интеллектуальная жизнь — это цветение, преобразование великого сексуально определяемого корня всего сущего в абсолютно совершенную форму"*. Женщина не склонна отделять цветение от корня. О чем же сокрушается Лу в мужчине-ученом с его "объективностью", так это о типично мужской "амнезии": именно перецивилизованность мужчины разобщает его с собственными корнями, которые всегда эротичны и дают начало всему. Лу уверена: религиозная страстность, сексуальная любовь и творчество исходят из одного источника. Тройственная функция женщины символизирует тройственность жизненной силы — женщина может быть одновременно (и часто так и бывает) любовницей, матерью и мадонной. В известной степени в этих размышлениях можно уловить предвосхищение знаменитого юнговского архетипа Анимы (образа вечной женственности), тоже имеющего три ипостаси: девственницы (Коры), Великой Матери и искусительницы, которые противоречиво сплетаются в мужских фантазиях о женщинах. Позже Саломе будет знакома с Юнгом, однако в их идейном противостоянии с Фрейдом однозначно солидаризуется с последним. Фрейд же удивительным образом будет лоялен к тем построениям Саломе, которые независимо от Юнга приближаются к идеям коллективного бессознательного, но которые в юнговской подаче он однозначно не примет.

Итак, по Саломе, в силу мужской "амнезии" женщина становится для мужчины внешним символом его собственного забытого прошлого и он нуждается в женщине, потому что она есть проекция того, чем он пока не является, чем он пожертвовал, чтобы стать мужчиной. Женственность, по Саломе, — это то, что мужчина подавил в себе, позабыл, вывел наружу и… как бы переложил на женщину. И потому она — то, к чему он лишь иногда имеет доступ внутри себя, *"никогда в долинах жизни, но всегда — на вершинах гор". "И когда мужчина потихоньку спускается с этих высот в обычную жизнь и видит женщину — тогда кажется ему, будто он узрел внутренние пространства своей души в форме молодого удивительного существа, в котором так и остается загадкой: становится ли оно на колени, чтобы быть ближе к земле или чтобы сильнее открыться небесам. Она — словно оживший библейский символ: "все твое на этой земле, но сам ты принадлежишь Богу"*.

Отсюда вырастает шутливая аналогия, которую Лу проводит между мужским и женским началом, с одной стороны, и аристократом и парвеню — с другой. В женском есть самодостаточность и покой, словно аристократ голубых кровей из своего замка наблюдает за предприимчивым новичком, который беспокойно стремится вперед, со страстью преследуя внешние

цели, все больше расщепляя свои силы и свою сущность на службе прогресса и специализации. А тем временем идеал совершенства и конечный пункт усилий для него воплощен в той самой величественной позе аристократа, и достижение этого идеала займет наверняка немало времени.

Однако если мы воспримем рассуждения Лу только как панегирик женскому началу, для нас будет полной неожиданностью та волна возмущения, которую ее работа вызвала в феминистских рядах. "Госпожа Лу Саломе — антифеминистка!" — таков был однозначный вывод ее критиков. "Мы находим в ее текстах утверждения, от которых у нас, эмансипированных женщин, волосы встают дыбом, и в то же время другие утверждения, которые можно было бы использовать в качестве самых сильных аргументов женской эмансипации", — писала Х. Дом, попутно нападая на "чересчур длинное и претенциозное имя автора, которое съедает слишком много бумаги" и невольно вызывает ассоциацию с двумя фатальными женскими фигурами — Саломеей и Лулу.

Надо сказать, что женский вопрос и феминизм были одними из самых острых проблем в Германии того времени. Кайзер Вильгельм в речи, произнесенной в 1910 году, характеризовал женское движение как "одну из самых больших современных угроз". Однако Лу была верна себе в своем безразличии ко всему актуальному лишь социально, но не внутренне. Среди ее знакомых и подруг было немало феминисток, в том числе и Хелен Штекер, которая пыталась сделать из Ницше философа феминистского движения. Саломе же, как и сам Ницше, считала женское стремление уподобиться мужчине, добиться "равенства" лишь шагом на пути к "обломкам мужчины". "В конце концов человек должен освободиться и от своей эмансипации", — сказал ей Ницше в свое время. Лу не собиралась ставить на место концепции "женщин для мужчин" ее чисто внешний перевертыш — "женщину для женщин". Ее девизом продолжало оставаться: "Стань собой!" Ту полноту и универсальность, которую она провидела в женском, Лу отнюдь не считала уже воплощенной действительностью. Это всего лишь потенция того, чем женщина **могла бы быть** при условии, что ей достанет решимости сполна реализовать свои ресурсы. *"До тех пор, пока женщины не прекратят представлять себя, отталкиваясь от мужчин… они не будут знать, насколько широко и мощно они могли бы развернуть свои возможности в структуре их собственного естества, насколько гибки границы их миров в реальности. Женщина все еще не самодостаточна и по этой причине не стала в достаточной степени* **женщиной".** Лу хочет, чтобы в фокусе внимания женщин

оказалась их собственная сущность, а не социальные условия: она слишком ясно видит, что когда усилия феминисток отрицаются, тогда их сильнейшие способности съеживаются и они словно бы обрекаются на вечную дисгармонию. *"Быть может, наконец появятся женщины, которые, в соответствии с исконными установлениями, будут похожи не на те деревья, чьи плоды предполагается собирать, отделять, упаковывать, отправлять кораблем и использовать в разнообразных целях, но на такие деревья, которые хотят быть просто деревьями — в священном буйстве своего цветения, созревания, красоты, дающей тень".*

Лу исходит из положения, что мужское и женское устройство различны не в привычном смысле дополняющих друг друга половинок. Нет, суть в том, что такая целостность, как человек, существует в двух образах, каждый из которых выражает **человеческое** на свой манер. Оба этих варианта **человечности** обладают своими характерными возможностями; оба могут исказить их или не суметь развернуть, ведь так част соблазн объявить своеобразие другого просто функцией самого себя. Тогда, к примеру, женщину представляют экраном, на который проецируются лучи мужской творческой активности, и все ее воплощения становятся преломлением мужской воли и воображения. Но подобные редукции на деле обедняют мир. Так же как и внешнее честолюбие, которое пробуждается в женщине в попытках продемонстрировать равенство своего профессионального потенциала мужскому, — это, согласно Саломе, совершенно смертельное качество, которое женщина может в себе взрастить. Естественное величие женщины в том, что ее творчество не нуждается в таком доказательстве, как социальный успех. *"Столь свойственная женщинам тенденция просто вести себя к более широкому и богатому самораскрытию… часто приводила их к обвинению в дилетантизме, непоследовательности и поверхностности. В действительности женщине труднее придерживаться линии, которая просто ведет прямо вперед, трудно не отклониться, не поддаться внезапному порыву, не получить удовольствия от разнообразия… Она способна "приютить" много противоречий, тогда как мужчина должен отвергнуть всё, мешающее его представлению о ясности… Правда представляется мужчине наиболее убедительной, если к ней приходят путем логического заключения… убедительная правда для женщины — всегда только та, что оспаривается жизнью, та, по отношению к которой она может сказать "да" всей глубиной своего существа, даже несмотря на то, что в некоторых случаях одна только она и может сказать "да". Женщина хранит внутренний опыт того, что суть вещей в конце концов отнюдь не*

проста и логична, но многозначна и нелогична".

Книга Саломе имела бесспорный успех и породила заметный резонанс. Тот факт, что с момента ее появления она была пятикратно переиздана, свидетельствует о том, что секрет успеха был не только в остроте и рискованности темы, но и в опережающей время глубине интуиций, которые разбередили душу и последующих поколений. На многих страницах Лу с экстатическим восторгом говорит о таинствах физической любви — знающий ее биографию читатель отметит, что мировоззрение Лу претерпело революцию. Тем более ему будет интересно, какое место занимал утверждаемый в тексте "эротизм" в жизни нашей героини.

Именно в эти годы Лу переживала эпоху своего наивысшего женского расцвета. Спустя полвека после расставания с Лу пожилой благородного вида джентльмен, имени которого мы не знаем, рассказывал ее биографу: "В ее объятиях было что-то странное, первородное, анархическое. Когда она смотрела на вас своими лучащимися голубыми глазами, она будто говорила: "Принять твое семя будет для меня верхом блаженства". У нее был огромный эротический аппетит. В любви она была безжалостна. Для нее не имело значения, имел ли мужчина другие связи… Она была совершенно аморальна и одновременно очень благочестива — вампир и дитя".

Нарциссы по средам

Там странны узников мечтанья
И грешников святые сны,
Там гор безумны очертанья
В оправе девушки-луны...
Плетется путник там дорогой.
В пыли он вечер, месяц, год.
И золотою недотрогой
Ложится солнце в ночи рот...
Н. Хамитов

Пожалуй, можно было бы назвать Лу максималисткой в любви, выдвигающей к близости мужчины и женщины предельные требования на всех уровнях. С какими бы мужчинами ни сталкивала ее судьба, Лу, строя отношения, всегда придерживалась характерного для нее "почерка": смыслом возникающей близости было взаимное возвращение к основам андрогинизма, духовной бисексуальности. *"Присутствие мужественности в женщине и женственности в мужчине,* — писала она, — *которое наблюдается у всех нас, работает по-разному в каждом из индивидуальных случаев. Иногда это совершенно раскрепощает персону от того пола, к которому она принадлежит, и нарушает гармонию, хранимую самой сущностью его/ее бытия, смывая клеймо женственности с женщины и феминизируя мужчину. Но только в тех людях, которые ориентированы постоянным присутствием своего партнера* **внутри себя***", наша психическая бисексуальность может стать плодотворной".*

И здесь опять возникает живая нить переклички с идеями Вл. Соловьева, который считал абсолютной нормой человеческого бытия восстановление предсказанной еще Платоном андрогинной целостности, в которой сливаются противоположности мужского и женского, физического и духовного, индивидуального и бесконечного. "Простое отношение к любви завершается тем окончательным и крайним упрощением, которое называется смертью", — утверждал Соловьев, и Лу, несомненно, могла бы подписаться под этими словами. Никакого упрощения, никакой инертности, планка ожиданий от себя и от партнера должна быть предельно высока — лишь тогда прыжок превращается в полет. Лу всегда развивала предельное духовное напряжение на пути к другой душе. Об этой ее способности вспоминал Пол Бьер, тот ее

возлюбленный, которому суждено было ввести ее в мир психоанализа: "Сразу было видно, что Лу — необычная женщина. В ней чувствовалась искра гения. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь. В моей долгой жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и полно, как Лу. Все это дополнялось поразительной искренностью ее экспрессии". Лу даже выучила шведский, родной язык Бьера, чтобы глубже понимать его идеи.

Они встретились в 1911 году в Швеции у ее подруги, педагога-реформатора Эллен Кей. Бьер как раз работал над докладом по психоанализу, готовясь к конгрессу. Они разговорились — и в калейдоскопе духовных поисков Лу вдруг сложился новый узор: она с внезапной остротой ощутила, какой горизонт могла бы предложить ей эта новая психология.

В сентябре 1911 года она сопровождает Бьера из Стокгольма на конгресс психоаналитиков в Веймаре, организованный К.Г. Юнгом. Ее появление не проходит незамеченным: свежая и энергичная, Лу выглядела как двадцатилетняя девушка. Серебристо-льняные волосы, светло-голубые глаза, прекрасная кожа замечательно гармонировали с ее высокой фигурой, которую оттеняли любимые мягкие меха, шали и серо-голубые платья. Все подчеркивали ее радостность, приветливость, чувство юмора. Поговаривали, что своим иммунитетом к возрасту Лу обязана восточным медицинским практикам, почерпнутым от мужа. На самом деле, скорее, эликсиром юности Лу были гормоны странного сверхвоодушевления, охватывавшего ее при всякой новой возможности обретения себя.

Лу прибыла на конгресс хорошо подготовленной благодаря интенсивным штудиям с Полом Бьером. От него она впервые услышала о **сублимации** и была совершенно восхищена меткостью этого фрейдовского термина. *"Он подобрал слово-ключ — одно из тех, что сразу же снимает все недоразумения: для него самого это слово означает отклонение от сексуальной цели"*. Фрейд, в свою очередь, был знаком с ее *"Эротикой",* о которой отозвался так: "Идя другой дорогой, она пришла к близким результатам исследования". Разумеется, в первую очередь он имел в виду идею о психологической бисексуальности каждого человека, которая была для него не менее заветной, чем для Лу. "В любом сексуальном акте участвуют четыре самостоятельных личности", — утверждал он.

Фрейд от души смеялся над той решительностью, с которой Лу заявила о своем желании быть его ученицей, чтобы как можно

скорее постичь тайны психоанализа, — ведь он работал над этим почти четверть века. Однако, с удивлением обнаружив, что она знает и понимает его науку, стал вспоминать все, что слышал о ней и Ницше…

Имя Ницше, между тем, звучало на этом конгрессе. Кое-кто из докладчиков видел в нем предшественника некоторых идей психоанализа. Двое участников даже нанесли в Веймаре визит сестре Ницше Элизабет. Узнав, что в конгрессе участвует Лу, эта "несносная русская авантюристка", и что все мероприятие связано с именем Фрейда, та тут же усмотрела здесь международный еврейский заговор вокруг имени ее великого брата.

Отношение самого мэтра к Ницше было сложным и весьма любопытным. Его беспокоило, сколь часто его ученики — Юнг, Ранк, Джонс, Шпильрейн, Хитчмен и другие — по разным поводам проявляют свою зависимость от Ницше. Он понимал, что это самый сильный его соперник на интеллектуальном поле, и исход их борьбы за власть над умами во многом определит лицо начавшегося столетия. Объективности ради надо сказать, что в молодости Фрейд и сам подпал под обаяние этого "ниспровергателя всех и всяческих ценностей". Он участвовал в "Кружке немецких студентов Вены", главными авторитетами которого были Шопенгауэр, Ницше и Вагнер. В 1900 году Фрейд писал своему другу и единомышленнику Флиссу, что изучает книги Ницше, в которых надеется "найти слова для того, что остается немым во мне".

Теперь все было наоборот: его новая последовательница именно "алгеброй психоанализа" хотела поверять мощь ницшевских интуитивных прозрений. Фрейд же к этому времени уже отчетливо осознавал не только свою удаленность от Ницше, но даже абсолютную взаимную несовместимость с ним. Он отдавал должное невиданному уровню интроспекции, которого тот достиг. Но отговаривался тем, что ницшевская мысль слишком богата разнообразными смыслами и ему тяжело всерьез погрузиться в нее. Казалось бы, парадоксальная причина. Однако не прояснится ли позже, что это богатство мысли влекло за собой самые непредвиденные интерпретации ее? В 1921 году, на фоне грозных событий века, Фрейд, пытаясь понять природу всплеска иррациональной волны "восстания масс", увидит в вожаках толпы чудовищную пародию на ницшеанского сверхчеловека. И потому позже, в 1934 году, когда эти вожаки станут открыто объявлять себя наследниками Ницше, Фрейд будет пытаться отговорить Цвейга от намерения сравнить его в своей книге с автором "Заратустры".

Фрейд говорил о Лу Саломе, что она — единственный мост,

который связывает его с Ницше. Как проницательно заметил А. Эткинд, "подобно великолепным мостам Петербурга и Парижа, она была для него символом победы". Сама же Лу, заново переосмысляя идеи Ницше и погрузившись вновь воспоминаниями в ту историю, в первую очередь вспомнила Пауля Рэ с его психологическими проблемами и искренне сожалела, что *"психоанализ не был открыт раньше, ибо он был бы способен дать Паулю исцеление"*.

Юнг, как организатор конгресса, заметил, что внутри психоаналитического движения начинают складываться коалиции, имея в виду альянс Лу и Бьера. Это заключение оказалось несколько преждевременным: Лу расстанется с Бьером именно по причине его отхода от Фрейда. Впрочем, по тем же соображениям она отдалится и от самого Юнга. Тем не менее в продолжение трех дней конгресса и некоторое время после него они с Полом жили вместе и были почти неразлучны. Лу мало смущал тот факт, что Бьер был женат, она даже пеняла ему на невнимательное отношение к супруге. Бьер, со своей стороны, удивил и даже задел ее своей убежденностью в ее "аморальности". "Она обсуждала самые интимные и личные дела с поразительной беспечностью. Я помню, что был шокирован, когда узнал о самоубийстве Рэ. И у тебя нет угрызений совести? — спросил я ее. Она только улыбнулась и сказала, что сожаления — признак слабости.

Я знал, что это только бравада, но она действительно казалась ничуть не озабоченной последствиями своих действий". Бьер был не первым, кто усомнился в ее "этическом кодексе". Точно так же (и столь же бездоказательно) на нее возложила вину за смерть Рэ мать Пинельса, которая затем, боясь за сына, послала за ними вслед, когда они отправились в путешествие, соглядатая из числа друзей семьи. Лу поняла, что разобраться со своей "аморальностью" ей может помочь только суровый самоанализ. И значит, психоаналитические методы для нее необходимы как воздух. Позднее она сможет черпать утешение в том, что Фрейд был решительно убежден, что этические идеалы Саломе далеко превосходят его собственные. Трудно сказать, что подвигло его к такой точке зрения, но искренность его несомненна.

Оказавшись в своем доме в Геттингене, Лу не может думать ни о чем другом, кроме как о Фрейде и его науке. На полгода она с головой уходит в самостоятельное изучение психоанализа, подготавливая свое пребывание в Вене. Известный психоаналитик Карл Абрахам рекомендует ее учителю на основе знакомства с ней в Берлине: "Я никогда еще не встречался со столь глубоким и

тонким пониманием психоанализа". На просьбу Лу о посещении знаменитых сред Фрейд, явно польщенный вниманием известной писательницы, ответил так: "Если Вы приедете в Вену, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы показать Вам то немногое, что можно показать в психоанализе. Уже Ваше участие в Веймарском конгрессе я истолковываю как благоприятное предзнаменование.

С преданностью, Ваш друг".

Окунувшись в венский психоаналитический водоворот на полгода — с 25 октября 1912-го по 6 апреля 1913-го, — Лу посещает и субботние лекции Фрейда, которые тот читает для специально приглашенных лиц в психиатрической клинике, и знаменитые дискуссии по средам. Любопытно, что она принимает решение не вовлекаться в дебаты и споры до хрипоты, столь характерные для заседаний Психоаналитического общества. Молчаливость никогда не была ее добродетелью, но сейчас она целиком настроена на роль ученицы, во-первых, и считает женской доблестью вносить самим присутствием умиротворяющую и примиряющую струю, во-вторых. Вечерами, однако, она ведет подробный "Фрейдовский журнал", куда заносит все мнения и свои к ним комментарии. *"За мужское научное соперничество женщины говорят "спасибо",* — так с шутливым одобрением заканчивает она описание одного из наиболее бурных вечеров.

На лекциях у Фрейда была привычка выбирать в аудитории кого-нибудь одного и обращаться к нему. С новой слушательницей он сразу ощутил удивительный контакт. Однажды Лу не пришла на очередную среду, и Фрейд прислал ей записку, в которой в шутливо-ревнивой форме интересовался, не является ли причиной отсутствия ее общение с Адлером, известным "раскольником" психоаналитических рядов. "В этой записке Фрейд признается, что последнюю лекцию он читал пустому стулу, на котором раньше сидела Лу", — пишет А. Эткинд. Как учитель и человек он был очарован новой последовательницей и не скрывал теплоты своего расположения. Он слал ей цветы и провожал до отеля. Посылая Лу букет нарциссов, Фрейд поначалу не подозревал, сколь символичен его подарок. Совсем скоро этот мифический цветок станет визитной карточкой Лу в психоанализе.

Перстень мэтра

Твоя душа как статуэтка воина,
Покрытая наградами и шрамами,
Которые на ней века оставили,
Гудящие бездонными тамтамами...
Н. Хамитов

Исследователи удивляются, как после близости с двумя величайшими романтиками — Ницше и Рильке — она так легко вобрала в себя "суровый реализм" Фрейда. Мне же кажется, что именно в этих необычных отношениях закалялась виртуозность ее интроспекции. Она не раз использовала интуитивно найденные ею приемы в отношении Райнера. Желание помочь ему победить "своих внутренних демонов" теперь, когда она будет оснащена новым, столь мощным и всепроникающим оружием, служило ей сильнейшим стимулом. *"Есть две совершенно противоположные вещи в моей жизни, которые поразили меня и сделали особо восприимчивой к психоанализу Фрейда",* — писала Лу, имея в виду, во-первых, *"судьбу Райнера", а во-вторых, "опыт России".*

"О русских часто говорили — в том числе Фрейд, — что этот "материал", патологический ли, здоровый ли, сочетает в себе две вещи, которые не так уж часто встречаются вместе: простоту структуры и способность в определенных случаях описывать даже самые сложные вещи, используя все удивительное богатство языка, находя название самым сложным психическим состояниям. Именно на этой выразительности основана вся русская литература. Не только ее великие, но и менее значительные произведения. Эта безграничная откровенность и прямой, идущий из самого раннего детства отголосок начальных стадий становления словно бы ведут нас к первоначальной сфере формирования самосознания. Когда я мысленно воссоздаю в памяти тот тип человека, с которым я столкнулась в России, я очень хорошо понимаю, почему сегодня он видится нам более "анализируемым", оставаясь при этом честным перед собой: процесс подавления у него менее глубок, менее интенсивен, тогда как у представителей древних культур он создает барьер между сознанием и бессознательным".

И, наконец, третьим, самым личным и решающим фактором ее выбора в пользу психоанализа была жажда *"лучистого увеличения в объеме собственного жизненного пространства*

путем пробирания на ощупь к корням, которыми я погружена в тотальность бытия…"

В 1912 году, положившем начало их сотрудничеству, Фрейду было пятьдесят шесть лет. Он был всего на пять лет старше Лу, но внешне возрастной разрыв между ними казался гораздо более значительным. Вообще, она почувствовала себя рядом с ним ребенком. Это ее обрадовало: в отношении творца психоанализа ее привлекала отнюдь не позиция равноправного сотрудничества, но почтительная харизматическая дистанция. Лу не хотела допускать никакой фамильярности по отношению к тому, кто указал ей окончательную цель жизни.

Ее трогало и восхищало то, что Фрейд рисковал своей репутацией ради открытий, которые его как человека должны были, скорее, огорчать. Этот гениальный исследователь, коего столь многие считали ниспровергателем моральных ценностей, вел жизнь, всецело находившуюся под его интеллектуальным контролем. Юнг вспоминал, как однажды в Америке, когда они по обыкновению, ставшему аналитической традицией, пересказывали друг другу свои сновидения, Фрейд признался, что ему снятся американские проститутки. "Так почему бы вам не предпринять что-либо в этом направлении?" — игриво поинтересовался Юнг. Фрейд отпрянул от него, ошеломленный: "Но я женат".

Сам творец психоанализа шутил по поводу своей устойчивости к соблазнам грустно и метко: "У каждой из тяжущихся сторон есть свой резон: влечение имеет право на удовлетворение, реальность — на положенное ей уважение. Однако каждому известно: безвозмездна только смерть".

"Единственной его слабостью, — пишет Эткинд, — были сигары и коллекция античных и восточных статуэток, в которую он, особенно в конце жизни, вкладывал все свободные деньги. Его рабочий стол весь был заставлен этими статуэтками, расположенными в образцовом порядке так, чтобы между ними располагалось точно отмеренное пространство для листов бумаги, на которых он писал свои книги. Пациент, проявивший особое мужество в самораскрытии глубин своего бессознательного, удостаивался поощрения в виде краткой экскурсии по этой коллекции".

Саломе так оценивала его вклад в раскрытие секретов детской сексуальности, которые, по собственному признанию Фрейда, были для него "малоприятными и отталкивающими": *"Он обладал мужеством, большим мужеством, позволившим ему очень глубоко погрузиться в эту зыбкую, рискованную область и, сохранив уверенность и спокойствие, пройти ее насквозь. В итоге*

он открыл законы подземных толчков, от которых рушатся даже самые прочные и высокие стены". При всем том, однако, своих собственных сыновей, когда пришел их черед получить необходимые сведения о половой жизни, он направил к доктору… Вообще, несмотря на профессиональную погруженность в сексуальные секреты и тайны других, он предпринял все возможное, чтобы скрыть от всех собственную интимную жизнь. Многие из частных писем он уничтожил, а те, которые уцелели, хранятся нынче в библиотеке США и должны стать доступны, начиная с 2000 года.

Разумеется, научный прорыв Фрейда не ограничивался ни открытием огромной роли в нашем культурном мире неосознанного и иррационального, ни признанием целого резервуара детских фиксаций либидо. Лу чутко замечает, что о существовании бессознательного догадывались и до Фрейда, но именно он высветил связи и механизмы его функционирования внутри психики — вытеснение, сублимацию, сгущение, обращение в противоположность. Нормальные и патологические процессы, согласно Фрейду, протекают по одним и тем же правилам. И это позволило раскопать ему целый интереснейший пласт "психопатологии обыденной жизни", когда врач получал доступ к комплексу пациента через его обмолвки, описки, остроты, сны, казалось бы случайное забывание слов. Недаром позднее Мирча Элиаде восхищался Фрейдом как великим мифотворцем человеческого существования; куча скучных деталей, которым мы не придавали значения: ошибки в написании, огрехи в произношении, забывчивость, постыдные воспоминания, страхи, остроты, — все это благодаря великому воображению ученого озарилось таинственным мерцанием секса и предстало волшебными ключиками, отпирающими тайны человеческой души.

Это богатство инструментария не могло не пленять Лу. Правда, Фрейд поначалу добродушно *"высмеял мое страстное желание изучать психоанализ: ведь в то время никто еще не помышлял об учебных институтских курсах. Спустя время, когда я вновь предстала перед Фрейдом… он во второй раз смеялся над моей наивностью и еще более искренно, так как я заявила мэтру, что помимо него хотела бы иметь наставником Адлера (оба успели стать заклятыми врагами). Фрейд добродушно согласился…"*

Сохранилось письмо Фрейда к Лу от 4 ноября 1912 года, где он высказался по этому поводу с предельной откровенностью: "Мы вынуждены были прервать контакты между нашей группой и адлеровскими отщепенцами, поэтому врачи поставлены перед

выбором: посещать лекции или там, или тут. Не слишком это хорошо, но поведение отщепенцев не оставляет другой возможности. Не хочу налагать на Вас ограничений, но прошу как не упоминать о посещениях наших лекций там, так и у нас не говорить о лекциях Адлера. Сожалею, что не могу прикрыть перед Вами кулис научного движения". В других случаях Фрейд не прощал подобной раздвоенности.

Первая встреча Лу с Адлером состоялась уже на третий день по ее приезде в Вену (что было обусловлено еще в переписке). Она просидела у него дома до поздней ночи: *"Он мил и очень умен. Две вещи меня, однако, раздражали: то, что он слишком личностно говорил о происходящих спорах, а также то, что выглядел как пуговица, застегнутая сама на себя…"* Она обратилась к нему не столько по поводу теории психоанализа, сколько потому, что нашла в его книге "О невротическом характере" ссылки на религиозно-психологическую литературу, а это попадало в самый нерв ее исследовательских интересов. Лу засыпала его вопросами о психологии возникновения религиозных символов, но Адлер вместо серьезной дискуссии предпочел пригласить ее в кафе, был весел и уклончив.

Итак, в те месяцы, будучи прилежной ученицей и читательницей как Фрейда, так и Адлера и не желая зависеть ни от чьего мнения, она пытается сопоставлять их взгляды на одни и те же явления и их терапию. Исключительность Лу проявилась и в этом случае: она оказалась не только единственной женщиной, но и единственным человеком, умудрившимся учиться одновременно и у Фрейда, и у Адлера. "Обет молчания" она не нарушила: даже когда она прекратила посещать занятия Адлера, отдав однозначное предпочтение Фрейду, в "лагере Фрейда" об этом долго никто не подозревал. Дело же было в том, что Лу пришла к выводу, который не собиралась обнародовать: что терапия Фрейда отличается от адлеровской, как нож хирурга от мази знахаря. Адлер еще некоторое время пытался вернуть ее в лоно своих сторонников, но Лу оставалась непреклонной, заявив, что полезным для нее моментом в общении с Адлером была упомянутая книга. К этому она добавляла, что *"даже самая соблазнительная среди всех возможных концепций не могла бы меня отвлечь от того, что открыл Фрейд. Когда знакомишься с его методом исследования, понимаешь, что самому блестящему теоретику психоанализа не удалось бы заговорить меня от его чар и что никакие несовершенства теории Фрейда не смогли бы обесценить сам метод в моих глазах… Но если бы я принялась объяснять, что ему позволило сделать свои открытия, я бы рассмешила его в третий раз. Это все равно что пытаться*

уточнить, каким силам подвластны пальцы скульптора или рука художника". Тем временем в прессе появляются сообщения, что Лу пополнила "секту экзорцистов", как с подачи Адлера называли приверженцев Фрейда, и опубликовала ряд статей, оскорбляющих общественную мораль. Сам Адлер в конце концов так отозвался о своих отношениях с Фрейдом и Лу: "Мои взгляды могут быть ошибочными. Не по этой ли причине их стоит подворовывать?"

Надо сказать, что Лу вошла в психоанализ, когда он уже сформировался в своих принципиальных пунктах, и теперь в нем забрезжили свои расколы — диссидентами, в первую очередь, явились Адлер и Юнг. Суровость Фрейда в борьбе за единство теории стала притчей во языцех. Не терпевший отступничества в вопросах своего учения, он, кажется, позволял непозволительное только Лу — ему нравилось, как она дополняла его "анализ своим русским синтезом": "Я начинаю мелодию, обычно очень простую, Вы добавляете к ней более высокие октавы; я отделяю одну вещь от другой, Вы соединяете в высшее единство то, что было раздельно. Я молчаливо принимаю за данность пределы нашего понимания, Вы обращаете на них наше внимание. В целом мы понимаем друг друга и придерживаемся одного мнения. Только я пытаюсь исключить все мнения, кроме одного, а Вы стремитесь включить все мнения, взяв их вместе". Не оживает ли в этом союзе былая идея, высказанная Лу в *"Русской философии и семитском духе",* — идея о плодотворности взаимодействия *"телескопически воспринимающего вещи"* семитского духа и характерной русской диалектики синтеза? И вновь Фрейд возвращается к их совместной задаче соединить эти две ориентации: "Каждый раз, когда я читаю Ваши замечательные письма, я удивляюсь Вашему искусству выходить за пределы сказанного. Естественно, я не всегда иду здесь за Вами. Я редко испытываю такую потребность в синтезе. Единство этого мира кажется мне столь самоочевидным, что не нуждается в обосновании. Меня интересует другое — вычленение и разделение того, что иначе окажется перемешанным в единой первичной массе. Короче говоря, я аналитик…"

Своей приверженностью синтезу Лу, пожалуй, в наибольшей мере была обязана кумиру своей юности — монисту и пантеисту Спинозе. Она искренно обрадовалась, когда среди близких учеников Фрейда нашла того, кто независимо от нее начал заниматься вопросами сходства Спинозы и психоанализа, — Виктора Тауска. *"Белокурый упрямец и звериный собрат"* Тауск был намного моложе Лу: ему было тридцать три года. Он был родом из Хорватии, по специальности правовед, судья, к тому же имевший за плечами опыт журналистской работы в Берлине и

Вене. Чтобы лучше разобраться в психоанализе, он в тот период специально оканчивал медицинский факультет и в кругу учеников имел репутацию одного из самых способных. Поначалу Тауск сблизился с молодой подругой Саломе, актрисой Элен Делп, с которой Лу прибыла в Вену. Но как это не раз происходило в ее жизни, стоило вспыхнуть пламени общего очага интереса — и Лу магнетически приковала к себе его внимание. Несмотря на разницу в возрасте, они стремительно сближаются, и молодой доктор права и студент медицины завоевывает ее любовь. Она весело рассказывает ему, как, тайком продав свои украшения, приобрела в юности том Спинозы и штудировала его вместе с Гийо. В декабре 1913 года она завязывает диалог о Спинозе и психоанализе в переписке с Рильке, и тот через друга-поэта Франца Верфеля достает ей все произведения Спинозы. Она посылает Райнеру очерк Тауска о голландском мыслителе в связи с учением психоанализа, и тот высоко его оценивает. Впрочем, эти отношения были насыщены не только интеллектуально — Виктор задел в Лу глубинные душевные струны: она как могла поддерживала финансово нуждающегося и несчастного в браке Тауска, баловала его детей, покупая всевозможные лакомства и билеты в кино.

Вместе с Тауском Лу участвует в его вводном семинаре зимнего семестра 1912/13 года. И вместе осенью 1913 года они едут на IV психоаналитический конгресс в Мюнхен, где Тауск собирается выступить по поводу своего спинозианского психоанализа.

На этом конгрессе Лу познакомит Фрейда и Рильке, и Райнер, хотя и не считал себя фрейдистом, примет при посредничестве Лу многие его идеи, которые сразу же преобразятся в его творчестве в присущие ему поэтические символы. Рильке будет сердечно принят в венском доме Фрейда, когда он, получив в начале войны повестку, приедет попрощаться, — и по увольнении со службы в 1916 году он также первым делом посетит этот дом. Война удивительно сблизит всех троих; каждый из них по-своему — непрекращающимися исследованиями и поэзией — будет противостоять нарастающему хаосу. Фрейд, памятуя о знаменитом оптимизме Лу, спрашивает в своих письмах начала мировой войны: "Вы все еще верите, что все это — "большие братья"?" *"Все вместе они стали почище черта",* — грустно шутит Лу и добавляет: так происходит потому, что государства не позволяют себе всерьез уделить внимание психоанализу. Фрейд отвечает, что он не сомневается, что человечество преодолеет и эту войну, но он знает наверняка, что его ровесники уже не смогут с радостью видеть мир. Лу ждет еще одно потрясение —

известие о революционных событиях у нее на родине. Семьи ее обоих старших братьев переворот и гражданская война повергли в глубокую нужду и бедствия. Второй брат, Роберт, вернувшись домой после похорон своего сына в Крыму, обнаружил свое маленькое поместье полностью разрушенным и разграбленным, и его семья смогла выжить лишь благодаря милосердию их слуги: тот выделил им небольшое помещение на чердаке и капустный суп во время обеда, если брат помогал ему на поле. Письма Лу доходили туда очень редко. И ее тревога и беспокойство невольно прорываются в переписке с Фрейдом, хотя для этой переписки, сосредоточенной на психоанализе и психоаналитиках, обмен политическими новостями совсем не характерен. В июне 1917 года она признается ему в *"глубоких эмоциях",* вызванных событиями в России, в которые она трагически погружена, несмотря на *"запоздалое и чудесно сияющее начало лета"*. Она не упоминает, что, по-видимому, революция лишила ее состояния и теперь психоанализ наряду с книгами становится для нее единственным источником дохода. Впрочем, Фрейду не понадобились уточнения: известно, что он несколько раз оказывал ей финансовую помощь, не дожидаясь никаких обращений (и так он поступал по отношению ко многим своим нуждающимся ученикам).

От дружбы Андреас-Саломе и Фрейда, продолжавшейся двадцать пять лет, сохранилось более двухсот писем, и для этой переписки совсем не свойственна та требовательность и жесткость, которые характерны для переписки Фрейда с его учениками-мужчинами. В отношении последних он не останавливался и перед бесповоротным отлучением: так он отсекал то, что называл "сектанством", которое считал "бесполезным и представляющим угрозу в будущем". После Адлера и Юнга такая участь постигла и Тауска. Лу некоторое время пыталась быть посредником, переживая, что отношения Виктора с Фрейдом складываются так несчастливо. По мнению Саломе, он был одним из наиболее способных учеников, иногда он поражал ее оригинальностью своих интерпретаций. Один раз он принес ей свои переводы на немецкий старинных сербских песен, о которых еще Гёте говорил, что некоторые из них по своей поэтичности могут стоять рядом с "Песней песней". И Виктор с Лу тут же с головой ушли в психоаналитический разбор сербских баллад о богатырях.

Поддаваясь ее уговорам, Фрейд пытался воспринимать Тауска дружелюбно, хотя в глубине души ему это было сложно. Он видел в нем конкурента и потенциального раскольника. Даже доверив ему функцию организатора дискуссий во время знаменитых

встреч по средам, он продолжал оставаться настороже. "Фрейд относится ко мне с уважением, но без тепла", — констатировал Тауск. Он решил использовать последний шанс преодолеть взаимное недоверие и попросил Фрейда принять его в качестве пациента. (Лу, кстати сказать, сама никогда не проходила анализ.)

Легко ли было Лу совмещать роль любовницы Тауска с безоговорочной приверженностью Фрейду? Она умела (и не раз доказала это) сохранять объективность, находясь в двух лагерях, но она никогда не пыталась гальванизировать те любовные отношения, которые, по ее мнению, исчерпывали себя. Так произошло и с Тауском: не отказывая в посредничестве, она устранилась от близости.

В преддверии расставания они завели беседу о верности и неверности женщин. Тауск охарактеризовал склонность некоторых женщин к контакту с несколькими мужчинами как сублимированную полиандрию, в отличие от многоженства угрожающую настоящей любви. Лу отвечала, что женщина оставляет мужчину не обязательно ради другого мужчины — временами она хочет вернуться к себе самой. Женщина подобна дереву, ожидающему молнии, которая его расколет.

Она вернулась в Геттинген к мужу и своим дальнейшим исследованиям. После ее отъезда Тауск сдал медицинские экзамены и вскоре был призван в армию. Будучи главным врачом психиатрического отделения военного госпиталя, он опубликовал работу о неврозах и психозах военных.

Пол Роазен, взявший в 60-х годах интервью у семидесяти людей, лично знавших Фрейда, и написавший на основе этого материала сенсационную биографию Тауска, считает, что честолюбию Тауска решение Лу нанесло сильнейший удар: он слишком гордился тем, что находился в одном ряду с Ницше и Рильке. К тому же Фрейд все-таки отказал ему в анализе. И в 1919 году эта история закончилась трагически: Тауск покончил с собой тщательно продуманным способом — завязав петлю вокруг шеи, а потом прострелив себе голову. Об этом Лу узнала от Фрейда, который получил от Тауска предсмертное письмо (Виктор также отправил письма первой жене и невесте, с которой должен был вступить в брак через восемь дней). В этом послании Тауск благодарит Фрейда, говорит о своей верности психоанализу и оставляет лишь догадываться о мотивах своего последнего шага. Фрейд признается Лу, что ему не дано отгадать этой загадки.

Издатель переписки Лу и Фрейда Эрнст Пфайффер некоторые места этого письма опустил. Может быть, в нем были какие-то

деликатные моменты относительно Лу, которой он не отправил прощального письма? Хотя за несколько месяцев до смерти обращался за советом…

Отвечая Фрейду, Лу однозначно заняла сторону своего бывшего возлюбленного: она не считала его добровольную смерть выражением трусости или поражения, а наоборот свидетельством цельности натуры. Она писала в этом письме: *"Бедный Тауск, я любила его. Казалось, что я его знаю… Но никогда, никогда не подумала бы я о самоубийстве… То была та проблема Тауска, та опасность, которая одновременно придавала ему очарования. Его можно было назвать безумцем с нежным сердцем".*

Вообще, отношение к самоубийству, как мог заметить внимательный читатель, у Лу было довольно спорным. Не исключено, что здесь крылась какая-то роковая для нее проблема, и, быть может, оптимизм ее теории "нарциссизма" как позитивной любви к себе был радикальной попыткой справиться с этой странной внутренней некрофильной тенденцией. Недаром Фрейд, ругая ее за непомерно изматывающую работу ("одиннадцать часов анализа в день — это слишком!"), ворчал, что такое саморасточительство напоминает плохо скрытую попытку самоубийства. Но психоаналитиком она была от Бога — сохранилось множество восторженных свидетельств ее пациентов. Вот отзыв одного из них, кенигсбергского врача: "Признаюсь, что способ, каким Лу проводила мой анализ, оставил глубокое впечатление и действительно помог мне в жизни…

В целом у меня было впечатление, что Лу больше интересовали психологические, чем медицинские аспекты психоанализа. В конце концов, каждая жизнь — это новелла. Для писателя, каким была Лу, нет ничего интереснее, чем окунуться в жизнь других… Я думаю, что Лу занялась психоанализом, чтобы проникнуть в глубочайшие секреты жизни других людей… У нее была очень спокойная манера разговора и великий дар внушать доверие.

Я до сих пор удивляюсь тому, как много ей тогда рассказал. Но у меня всегда было чувство, что она не только все поймет, но и все простит. Я ни в ком больше не встречал такой умиротворяющей доброты, или, если хотите, сострадания. Мы обычно сидели друг напротив друга в полутьме. Большей частью говорил я, а Лу слушала. Она была великим слушателем. Иногда она сама рассказывала истории из своей жизни".

Этому пациенту вторит и другой: "Вид психоанализа, который избрала госпожа Саломе, не просто глубоко импонировал мне, а стал подспорьем на всю жизнь. Прежде всего тем, что я стал куда более терпим к поступкам других… В этом ценность

психоанализа, он делает человека скромнее…"

Сама Лу утверждала, что никакие другие отношения не приближаются по своему качеству к отношениям аналитика и пациента; ничто другое не дает столь глубокого понимания человечности и не утверждает так достоинство человека. Нигде больше "даю" и "беру" не бывают столь едины. Цель душевного путешествия — передать незнакомцу (аналитику) неизвестный пока для самого себя драгоценный груз, который в процессе передачи вдруг становится близким для обоих. Эти размышления об обоюдном *"счастье психоанализа"* составляют ключевую тему ее книги *"Благодарность Фрейду"*. Хотя Фрейду так и не удалось заставить ее изменить название книги на безличное "Благодарность психоанализу", он высоко оценил сам труд. В знак своего восхищения он прислал Лу один из пяти золотых перстней с римской геммой, которыми он награждал своих учеников за особые заслуги перед психоанализом.

В эти "особые заслуги" входила и ее неутомимая полемика с мэтром о природе нарциссизма, и ее исследования детских сексуальных фантазий совместно с дочерью Фрейда Анной. Известно, что Фрейд различал первичный и вторичный нарциссизм: как естественное раннее сосредоточение всей либидозной энергии на себе и как инфантильное состояние, к которому порой "скатывается" наша психика в кризисные моменты. Лу не согласна: позитивная любовь к себе не имеет ничего общего с самозацикленностью и самолюбованием. Сама сущность любви вспыхивает лишь тогда, когда мы преодолеваем пропасть между субъектом и объектом. Человек перестает видеть цель своих желаний и стремлений только вовне себя, но, *"вернув себе свои отчужденные владения",* чувствует свою волшебную неразобщенность с миром, и на это единство внутренне направлена струя его энергии любви. Нарцисс, повторяет она, любуется не собой, а своей нераздельностью с универсумом, так зримо проступившей на водной глади живого источника. Прочитав фрейдовское эссе "Добывание и покорение огня", она пытается породнить Прометея и Нарцисса, утверждая, что все Прометеи — это вполне развившиеся Нарциссы. Нарцисс любит самого себя и потому весь тот мир, который он воплощает в себе. Точно так же, любя другого, мы любим не его "эго", а преломленный в нем бесконечный мир. Именно поэтому, рассуждает она, любви постоянно сопутствует боль разочарования: не потому, что она угасает с течением времени, как принято считать, а потому, что те ожидания универсальности, которые любящий адресует своему объекту, его индивидуальность не способна выполнить.

Такое раскрытие индивидуального бессознательного в духовную целостность с миром почти граничило с мистикой, и принять такой ход мыслей для Фрейда значило пожертвовать ясностью и рационализмом, в коих он видел для себя высшую ценность. Единственной уступкой, которую он сделал для Саломе, стало его согласие с тем, что для женщины подобный нарциссизм, очевидно, более естественное и достижимое состояние. Он шутливо рассказал Лу, как ему довелось побывать под наваждением "спокойного и шутливого шарма настоящего нарциссизма" во время визита забравшейся в окно его офиса грациозной кошечки. Биографы убеждены, что Лу всегда вызывала у него ассоциацию с чарующей кошачьей самодостаточностью. Примирительно разводя руками, он шутил: "Великий вопрос, на который нет ответа и на который я не смог ответить, несмотря на тридцатилетний опыт исследования женской души, — это вопрос, чего же на самом деле хочет женщина".

Однако этот вопрос ему приходилось решать и в отношении своей дочери Анны. И Фрейд был счастлив их с Саломе дружбой, вспыхнувшей после того, как он пригласил в 1921 году Лу с семьей в свою венскую квартиру на Бергергассе. Двадцатишестилетняя Анна и шестидесятилетняя Саломе вместе навещали знакомых Лу — Беергофмана, Шницлера, Пинельса — и были неразлучны, "как две молодые девчонки". Продуктом же совместных обсуждений стала работа о детских мазохистских фантазиях и о связи переживаний боли и любви. Благодаря этой работе Анна сделалась в 1922 году членом Венского психоаналитического общества, чего, как она утверждала, не произошло бы без участия Лу, щедро делившейся с ней идеями и примерами из собственных детских воспоминаний. Лу высказала идею, что если с ребенком после травмы или наказания обращаются особенно нежно, то это может породить у него чувственное заключение, что боль и любовь находятся в тесном контакте, что они следуют друг за другом, — и такое единство может закрепиться в его воображении нерасторжимой ассоциативной связью. Лу вспоминает, как однажды отец, нежно обнимая, поранил ее горящей сигаретой, и это довело его самого до слез. Этот эпизод прочно запечатлелся в ее памяти, считает Лу, именно в силу изумившего ее своей интенсивностью равенства переживания боли и любви. Границы нормы и патологии становятся здесь очень зыбкими. Неотделимость любви и боли провоцирует страстное желание и оборону одновременно. Если мужчине при дефлорации не удается расшевелить первоначальный опыт равенства "любовь-боль", тогда вместо него

пробуждается воспоминание о том, что боль была средством разбудить себялюбие и разбередить гордыню мстительной обиды. Не в силу ли этой смутной памяти многие люди инстинктивно боятся любви? Эта глубоко запрятанная амбивалентность чувств еще более колоритно проступает в другом эпизоде ее детства. *"Я была уже школьницей, старше восьми лет. Наша собака, шнауцер, которую звали Джимка, взбесилась. У нас такое случилось в первый раз, поэтому мы не сразу распознали это, и когда меня перед уходом в школу моя любимая собака укусила за запястье, я лишь второпях что-то сделала с раной и как следует не испугалась. По возвращении домой я больше не нашла нашу собаку: разразилась эпидемия бешенства, Джимку забрали; его еще до вечера застрелили в предназначенном для этого исследовательском институте. Последовал скрытый дурной период страха, когда во мне, переполненной ужасом, возобладало представление, как было бы ужасно, если бы меня ежеминутно подозревали в бешенстве. Но я узнала также и то, что рассвирепевшие от бешенства собаки прежде всего нападают на* **любимых** *хозяев. И я вспоминаю ужасающее убеждение во мне: я укушу папу, то есть* **самого любимого".**

Вооруженная психоаналитическим методом, Лу заново переосмысляет свои отношения с отцом, свой юношеский выбор между отцом и учителем периода близости с Гийо, свой отеческий трансфер в отношениях с мужем и, наконец, тот факт, что лишь в "событии Фрейд" символические фигуры Отца и Учителя для нее окончательно слились и обрели живое воплощение. Ее письмо к Фрейду, написанное за два года до смерти, которое уже могло быть прочитано нацистской цензурой, столь враждебной к основателю психоанализа, заканчивается словами: "Если бы вместо того, чтобы писать Вам, я могла хоть десять минут смотреть в Ваше лицо — лицо отца над всей моей жизнью…"

Осень Сивиллы

И блаженная правда в лохмотьях лоскутных
пляшет, славя свободу, темницу хуля,
но не знает, несчастная, нет ни того, ни другого:
есть тюрьма долговая – Земля,
где за жизнь ты умрешь.
И не жди приговора иного.
И. Лепшин

Мы все уже на берегу морском,
И я из тех, кто выбирает сети,
Когда идет бессмертье косяком.
Арс. Тарковский

Для Андреасов, как и для многих подобных семей в тогдашней Германии, в 20-е годы жизнь складывалась достаточно тяжело. Галлопирующая инфляция в 1923 году достигла апогея: доллар составляет более чем четыре биллиона марок. Если раньше один аналитический прием стоил пятьдесят марок, то сейчас это уже три тысячи марок. Мало кому такое было по карману. Тем не менее Лу принимает и тех, кто не может платить, — она не умеет отказывать в помощи остро нуждающимся в ней. В 1925 году Фрейд посылает ей богатую пациентку и угрожает отречением, если она не потребует гонорар: "Вы не готовая помочь тетушка, Вы терапевт, который может работать только тогда, когда ему предоставят требуемые условия. С благотворительностью покончено!" Все же общедоступность исцеления психоанализом навсегда осталась мечтой Лу, и она признается в одном из писем Фрейду, что, *"разбираясь с богатыми клиентами, делала это потому, что годами мечтала работать на нищих детей моих братьев в России"*.

И даже в этих тяжелых условиях она всякий раз, чувствуя свое возросшее мастерство, испытывает неподдельное ликование, рассеивая мрак чьей-либо проблемы:

"Я знаю этот тихий успех во мне самой, — успех, который я отношу к разряду согревающих радостей, ведь я сама — старый холодный зверь, привязанный к немногим, поэтому я благодарна, что внутри психоанализа возможно тепло". Поэтому она охотно

принимает приглашение в Кенигсберг от главврача тамошней медицинской терапевтической клиники. Профессор Отто Брунс хочет, чтобы она в течение полугода прочитала врачам его клиники насыщенный лекционный курс по психоанализу и руководила бы их практической работой с больными. Это было серьезное признание ее опыта, знаний и мастерства. И Брунс безусловно польстил ей, когда, жалуясь на многолетнее скверное состояние врачебного ухода в своей больнице, где до сих пор руководствовались традиционными методами и медикаментами, произнес: "Вы просто обязаны мне помочь в реорганизации клиники. Мои ассистенты вместе со мной исполнены этим желанием и с воодушевлением ожидают вас". Лу был обещан соответствующий гонорар. Это был полугодичный изматывающий труд с пятью врачами и многими тяжелобольными, с подробнейшим лекционным потоком, но реформа марки, разразившаяся в том году, практически свела на нет ее гонорар (за один миллион марок в банкнотах каждый получил одну новую марку). Лу оставалось утешаться только тем, что ее усилиями была создана новая психоаналитическая клиника.

Она возвращается в Геттинген, где ее усталости и болезням (из-за перенесенного гриппа она частично потеряла свои чудесные волосы и какое-то время должна была скрывать прическу под вязаным чепцом) противостоят две неизменные радости — общение с Фрейдом и Рильке. Ее ждут присланные Райнером "Сонеты к Орфею" и "Дуинские элегии". 16 марта 1924 года она пишет ему: *"Милый Райнер, по истечении полугода — снова дома, в комнате, центр которой — твои две книги, завершенные, присланные, вплоть до голубых обложек полные воспоминаний. Я погружаюсь в них, и на смену нервной спешке — будто янтарь отдыхает в текущей воде"*.

Фрейду она рассказывает о тишине геттингенской жизни и о новой близости с Андреасом: оба вдруг открыли, сколько им нужно рассказать друг другу, на что раньше никогда не хватало времени. Это открытие расстрогало и обрадовало Фрейда: "…так долговечно только подлинное". Лу шутит, что вопреки старости становится все более подверженной маленьким женским слабостям: получив от Фрейда неожиданные пятьдесят долларов в октябре 1924-го, тяжелейшего для Андреасов в финансовом отношении, года, она мчится за своими вылинявшими мехами к ганноверскому меховщику. Фрейду же пишет: *"Если снова буду в них красоваться — мне не хватало каждую зиму их легкого тепла — Вы виноваты в такой расточительности. Благодарю от всего сердца, что Вы предоставили мне повод для искушения; хоть это и аморально, наибольшую радость мне всегда приносят мои грехи"*.

Когда Фрейд навещает ее в Геттингене, она снова чувствует, что *"несмотря ни на что жизнь — чертовски великолепная штука"*.

Рильке тоже не позволяет Лу забыть о себе, прислав ей в подарок одиннадцать томов Пруста и настойчиво повторяя свое приглашение приехать и прожить целый год в его швейцарском Шато де Мюзо. Лу не исключала такой возможности, но она не сложилась, а в декабре 1926 года тяжело болевшего Рильке не стало. Полгода спустя Лу напишет свою "Райнер-книгу" — это не столько воспоминания, сколько письмо к уже не живущему, попытка еще одного разговора с глазу на глаз, последнего "совместного пребывания". Она вновь и вновь перечитывает строчки, которые Рильке записал в ее дневник, прощаясь с ней в Геттингене перед началом войны:

> Надо умереть, ибо ее знаю...
> Умереть от несказанного цветения улыбки.
> Умереть от ее легких рук.
> Умереть перед Женщиной.

В 1928 году Лу в последний раз увидит Фрейда. Ее сильно угнетало известие, что у Фрейда подтвердили рак челюсти (от этой болезни после нескольких операций он умрет в 1939 году, уже в эмиграции в Англии). Последняя их встреча произошла в Берлине, и несмотря на трудности, которые были у Фрейда с речью и слухом, общались они долгие часы. Лу спросила его, помнит ли он о разговоре, который имел место много лет назад: о том, как он решительно не принял ее юношескую *"Молитву к жизни"? "Я уже точно не знаю, почему я это спросила, помню только, что была страшно взволнована, так как знала, что он давно переживает ужасные, унизительно-болезненные годы, в течение которых все, кто знал его, не переставали удивляться тому, каких пределов может достичь человеческое сопротивление. Да, он прошел через нечто, чего сама я не могла постичь и чему не могла помешать. И возмутившись при мысли о постигшей его судьбе и страданиях, я только и сумела выдавить: "То, что я так невнятно и слишком, пожалуй, эмоционально выразила в том стихотворении, вы испытали на себе!"*

И, опешив от собственной невольной откровенности, я принялась безудержно, безутешно рыдать. Фрейд не ответил, я только почувствовала, как он обнял меня за плечи".

Будто осознавая, что такая возможность уже не повторится, Фрейд нарвет для нее в парке Тегель букет цветов. Лу запомнит их цвета: голубой, светло-желтый, пунцовый.

Третьего ноября 1930 года умирает

восьмидесятичетырехлетний Карл Андреас. Фрейд, получив сообщение Лу, первым делом заботится о том, чтобы его сын, Эрнст, прислал ей тысячу марок из своей награды Гёте, а затем интересуется, какая роль могла бы выпасть ее друзьям при возможной реорганизации ее жизни. Но Лу хочет остаться в Геттингене: *"Здесь остается все как было. Домик погружает в спокойствие и осоловелость, стены блекнут вместе с нами, только их обесцвеченная обивка приобретает легкий золотистый оттенок: мы — против седины. И здесь я сама хочу дойти до конца"*. Внебрачная дочь Андреаса Мария остается с ней и содержит дом в порядке.

Последние годы жизни Лу прошли в уединении. С приходом Гитлера к власти психоанализ преследуется как "еврейская сексуальная психология", и надо иметь гражданское мужество, чтобы осмелиться навестить психоаналитика. Научные труды Фрейда были сожжены как "еврейская порнография". В 1938 году греческая принцесса Мари Бонапарт, близкая знакомая и бывшая пациентка Фрейда, спасла его от верной гибели, заплатив нацистскому правительству выкуп в размере двадцати тысяч фунтов стерлингов. Последние годы он прожил в Лондоне.

Элизабет Ферстер, не забывавшая Лу до смерти, натравливала на нее нацистов, обвиняя ее в извращении идей Ницше и в том, что она якобы "финская еврейка". В своих записках 1934 года Лу отмечает, что не стоит и думать о том, чтобы опубликовать написанное, главное — определить свою позицию, работа же "в стол" ее не пугает. "Она тихо вела в Геттингене загадочную жизнь Сивиллы нашего интеллектуального мира, — писал посетивший ее на пороге семидесятилетия Виктор фон Вайцзеккер, основатель медицинской антропологии. — Эта удивительная женщина, — продолжал он, — еще сохранила светло-русый цвет волос и гибкость подвижной фигуры, напоминающей молодое деревце… она обладала способностью мягко и осторожно проницать человеческие души и не страдала мужеподобием погруженной в науку и преисполненной замыслов женщины… Редкий случай, когда человеку удалось глубоко постичь науку психоанализа и сохранить при этом собственную индивидуальность; ни до, ни после я не встречал никого, кто мог бы сравниться в этом с Лу Андреас-Саломе".

Ее навещали Анна Фрейд, психоаналитик Генрих Менг, писательница Гертруда Боймер; самым же близким человеком в последние годы стал Эрнст Пфайффер, который поначалу обратился к ней за консультацией. Ему она расскажет мало-помалу всю свою жизнь, и из этих бесед родится книга

воспоминаний *"Lebensruckblick"*. Это сложноконструированное слово не поддается буквальному переводу: "Отраженное возвращение в мою жизнь" — таков примерно был замысел Саломе. Это ее своеобразный **амаркорд** — "ностальгическое воспоминание о сладостных мгновениях". Пфайффер приведет в порядок ее наследие и после ее смерти станет издателем и комментатором ее трудов.

Сидя в геттингенском саду на солнышке и предаваясь воспоминаниям, она с улыбкой признавалась своим слушателям: "У меня в самом деле дела таковы, что я все еще любознательна, ведь в чудесном клубке жизни все еще есть что вязать, и при этом с неба порой сваливаются сюрпризы". Она зачаровывала своих слушателей какой-то вечной недосказанностью, мерцающей таинственностью личности. Столь же неразгаданными остались и ее последние слова, сказанные перед смертью, 5 февраля 1937 года: "На самом деле всю свою жизнь я работала и только работала. Зачем?"

Вместо эпилога. Карнавал и подлинность: Заратустра, Эвридика, Электра?..

Ветренная ночь в шкатулку прячет день.
Темные леса шумят тревожно-сладко.
Бродит чья-то тень
Описанная кратко...
Н.Хамитов

Порой мне кажется, что вся ее жизнь была неким уникальным экспериментом — она словно испытывала на эластичность границу между мужским и женским началом: сколько "мужского" она в состоянии вобрать в себя без ущерба для своей женственности? Или, если угодно, наоборот: сколько "мужского" она должна ассимилировать, переварить в себе, чтобы достичь наконец подлинной женственности? Эта неутолимая тоска по целостности на-**пол**-овину обреченного существа…

Эта женщина прожила совершенно уникальную по событийной насыщенности жизнь. Она режиссировала свою судьбу отважно и безоглядно, но тень роковой душевной бесприютности следовала за ней по пятам. Своими руками она разводила костры-фейерверки удивительных встреч, но ни у одного из них не могла остаться.

Куда бы она ни шла, она магнетически оказывалась в эпицентре самых важных культурных событий истекающего XIX и восходящего XX века. Мы назвали ее странный дар эффектом **волшебного зеркала:** ее уникальная способность к пониманию и резонансу довершалась тем, что ее исключительные собеседники-мужчины видели в магическом стекле ее живого восприятия не просто себя, а свою **предельную возможность.** А их предельная возможность — это тот миф, который они способны были породить на вершине своего усилия.

Похоже на то, что каждая встреча манила Лу возможностью разгадать и запечатлеть ту **порождающую формулу,** или алгоритм личности, который аккумулирует и выплескивает духовное богатство выдающегося человека только одному ему присущим способом. Словно осторожно ведя пальцем по кольцам

на срезе дерева, она раскрывала для себя лабиринт творческих сил этой души. И все же… ни одна личность не исчерпывается своей **смыслопорождающей формулой.** Помимо кольцевого среза души имеется еще и корневая система. И в тех отношениях, что строила Лу, она сознательно оставляла незадействованной какую-то грань. Иначе пучина "слишком человеческого" могла поглотить ее, растворить в ком-то одном.

А Лу тянуло раскрыть разные "формулы творчества", сравнить их, сопоставить. Как неутомимый золотоискатель, она намывала полную горсть драгоценной крошки и принималась за новый прииск. Быть может, этой исследовательской жажде она пожертвовала своим человеческим счастьем…

Говорили, что она похожа скорее на силу природы, чем на человека. Однако Фрейд, с которым ее связывала двадцатипятилетняя дружба, утверждал, что еще ни у кого не встречал столь высоких этических идеалов, как у Лу.

Даже если согласиться с Ницше относительно "абсолютного зла", то это было бы зло в гётевском смысле этого слова: "то, что без числа творит Добро". Она могла разрушать жизни и судьбы, но само ее присутствие побуждало к жизни. "Рядом с ней люди вырастали, — писал шведский психоаналитик Пол Бьер. — Ее необычайно сильная воля, как правило, одерживала триумф над мужчинами. У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь… Она могла быть поглощена своим партнером интеллектуально, но в этом не было человеческой самоотдачи. Она, безусловно, не была по природе своей ни холодной, ни фригидной, и тем не менее она не могла полностью отдать себя даже в самых страстных объятиях. Возможно, в этом и была по-своему трагедия ее жизни. Она искала пути освобождения от своей же сильной личности, но тщетно. В самом глубоком смысле этих слов Лу была несостоявшейся женщиной".

"Расточительность сердца" — так назвал свой роман о Лу польский писатель Вильгельм Шевчук. Угадал ли он? Мы помним загадочные слова Лу, сказанные перед самой смертью…

Было ли тайной мукой Лу расточительство сердца или, наоборот, его нерастраченность?

Хроника жизни

1861 12 февраля в Санкт-Петербурге родилась Луиза фон Саломе, шестой ребенок и единственная дочь генерала Густава фон Саломе и его жены Луизы, урожденной Вильм.

1877–1878 Разрыв с протестантско-реформистской церковью.

1878 Встреча с Хендриком Гийо.

1879 Смерть отца (род. 1804). Май: конфирмация в Сантпорте (Голландия).

1880 Изучение теологии и истории искусства. Усугубление болезни легких.

1881 Поездка на курорты с матерью. Путешествие в Рим; философские дискуссии в кружке Мальвиды фон Мейзенбух.

1882 Поездка на Юг. Начало дружбы с Паулем Рэ. Встреча с Фридрихом Ницше (Орта/Монте Сакро, Таутенбург, последняя встреча в Лейпциге).

1883 Совместная жизнь с Паулем Рэ в Берлине (дружеский круг: Фердинанд Теннис, Герман Эббингаус, Георг Брандес), затем в Грис-Меране; "В борьбе за Бога" (опубл. 1885).

1884 Путешествия с Паулем Рэ (Меран и Тегензее). Встреча с Гийо.

1885 Разрыв с Паулем Рэ.

1886 Помолвка с Фридрихом Карлом Андреасом.

1887 Гражданский брак в Санкт-Петербурге; венчание, благословленное Гийо, в Сантпорте (Голландия).

189 °Статьи, театральная критика, рецензии в "Свободной сцене". Дружеский круг: Герхарт Гауптман, Бруно Виль, Уильям Бельш, Максимиллиан Харден и другие.

1891 Знакомство с Георгом Ледебуром. Супружеский кризис.

1892 "Женские образы Генрика Ибсена".

1894 Пребывание в Париже. "Фридрих Ницше в зеркале его творчества". Путешествие в Швейцарию с доктором Савелием.

1895 "Рут". Поездка в Санкт-Петербург с Фридой фон Бюлов. Пребывание в Вене. Дружба с доктором Пинельсом (Земеком), Артуром Шницлером, Гуго фон Гофмансталем, Рихардом Бир-Хофманном.

1896 "Из чужой души".

1897 Жизнь в Мюнхене. Начало продолжительной дружбы с Райнером Мария Рильке. Лето с Рильке в Вольфратхаузене, под Мюнхеном. Переезд в Берлин.

1898 "Феничка". "Необузданность". Смерть брата Евгения.

1899 "Дети человеческие". Путешествие с Рильке и Андреасом

в Россию.

1900 Второе русское путешествие (с Рильке). "Междустранье" (опубл. 1902). "Дневник русского путешествия" (не опубликован). Разрыв с Рильке.

1901–1902 Смерть Пауля Рэ (несчастный случай в Селерине). Женитьба Рильке на Кларе Вестхофф. "Ма". Поездка с Земеком в Швейцарию, в Розенгебирг и в Вену. Беременность и выкидыш. Лу нанимает экономку Марию Штефан.

1901–1903 "Родинка" (опубл. 1923).

1903 Переезд в Берлин. Андреас получает назначение в Геттинген. Приобретение дома в Хайнберге. Пребывание с Земеком в Ризенбирге.

1904 "Дом" (опубл. 1919). Путешествие с Земеком в Венедиг. Поездка в Скандинавию и Санкт-Петербург.

1905 Первая встреча с Рильке в Геттингене. Совместное путешествие с Хеленой Клингенберг в Гарц. Рождение внебрачной дочери Андреаса и Марии Штефан. Невроз сердца. Поездка с Земеком в Испанию.

1906–1907 Поездка в Берлин по приглашению Макса Рейнхардта, посещение его театральных премьер и театральных экспериментов.

1908 Смерть Фриды фон Бюлов. Последнее путешествие с Земеком: Босния, Герцеговина, Далматия, Болгария, Монтенегро, Албания, Турция.

1909 Поездка с Эллен Кей к Райнеру Мария Рильке, который в тот период был секретарем Родена. "Час без Бога" (опубл. 1921).

1910 Третья парижская поездка с Эллен Кей. Свидание с Рильке. "Эротика".

1911 Любовные отношения с Полом Бьером. Посещение Эллен Кей в Алвастре (Швеция). Участие в Международном Венском психоаналитическом конгрессе. Встреча с бароном Виктором Эмилем фон Гебсаттелем. Последнее свидание с семьей в Санкт-Петербурге.

1912 Интенсивное общение с Фрейдом; участие в заседаниях по средам и субботам. Любовные отношения с Виктором Тауском. "В школе Фрейда" (опубл. 1958). Рильке в Геттингене. Встреча с психоаналитиком Карлом Абрахамом. С Элен Дельп в Вене.

1913 Смерть матери (род. 1823). Март: участие в дискуссионных вечерах Адлера; участие в психоаналитическом конгрессе в Мюнхене.

1914–1915 Длительное пребывание у Рильке в Мюнхене.

1915 "Черт и его бабушка" (опубл. 1822). Смерть брата Александра. Психоаналитическая практика в Геттингене.

1917 "Три письма к одному мальчику".

1921 Дружба с Анной Фрейд. "Нарциссизм как двунаправленность".

1922 Членство в психоаналитическом обществе.

1923 Работа аналитиком в Кенигсбергской клинике.

1926 Смерть Райнера Мария Рильке (род. 1875)

1928 "Райнер Мария Рильке". Последняя встреча с Зигмундом Фрейдом.

193 °Смерть Фридриха Карла Андреаса (род. 1846).

1931 "Благодарность Фрейду". "Моя жизнь" (опубл. 1951). Знакомство с Эрнстом Пфайффером.

1933 Удочерение Марии Апель, дочери Андреаса и Марии Штефан.

1934 Передача литературного архива Эрнсту Пфайфферу.

1935 Операция раковой опухоли.

1937 Лу Андреас-Саломе скончалась 5 февраля в своем доме в Геттингене, в Хайнберге.

Отзывы и свидетельства

Она действительно гений. В ее характере есть нечто героическое. Гений духа и сердца.

П. Гаст

Это самое чудесное великолепие души, которое лишь отчасти передают ее книги. Она идет к душевному пониманию, любит, бесстрашно погружается в человеческие тайны. Я знал ее много лет. Узнавая ее, познаешь на одной стороне мягкость, а на другой силу. Она из тех, кто одной рукой убивает, а другой хочет подарить новую жизнь.

П. Гаст

Лу Андреас-Саломе среди сегодняшних писательниц является наиболее духовной, психологически глубокой, — я пишу это такими высокими буквами, — как УСПЕНСКИЙ СОБОР. Преклоняюсь перед ее искусством и ее мудростью.

М. Э. Эйшенбах

У нее был дар полностью погружаться в мужчину, которого она любила. Эта чрезвычайная сосредоточенность разжигала в ее партнере некий духовный огонь. В моей долгой жизни я никогда не видел никого, кто понимал бы меня так быстро, так хорошо и полно, как Лу. Все это дополнялось поразительной искренностью ее экспрессии… Она могла быть поглощена своим партнером интеллектуально, но в этом не было человеческой самоотдачи. Она, безусловно, не была по природе своей ни холодной, ни фригидной, и тем не менее она не могла полностью отдать себя даже в самых страстных объятиях. Возможно, в этом и была по-своему трагедия ее жизни. Она искала пути освобождения от своей же сильной личности, но тщетно. В самом глубоком смысле этих слов Лу была несостоявшейся женщиной.

П. Бьер

Ни одна женщина за последние сто пятьдесят лет не имела более сильного влияния на страны, говорящие на немецком языке, чем Лу фон Саломе из Петербурга.

К. Вольф

Если возможно приписать перелом в развитии Рильке одному человеку, то им была Лу Андреас-Саломе, которая с невероятной решительностью… оторвала его от провинциального горизонта его начальных опытов и вдохнула в него веру в себя… — и не просто так, а потому что любила его.

Бернгард Блюм

Позволь, чтобы мы вместе поднимались в гору под названием

"Ты" — туда, где высокая звезда… Ты не являешься моей целью. Ты — тысяча целей. Ты — всё.

Райнер Мария Рильке

Первая часть ницшевского "Заратустры" родилась из его иллюзий о Лу… И именно Лу вознесла его на гималайскую высоту чувства.

П. Гаст

Вряд ли когда-либо между людьми существовала большая философская открытость, чем между мною и Лу Саломе.

Ф. Ницше

Она дочь русского генерала; ей двадцать лет, она резкая как орел, сильная как львица, и при этом очень женственный ребенок… Она поразительно зрела и готова к моему способу мышления… Кроме того, у нее невероятно твердый характер и она точно знает, чего хочет — не спрашивая ничьих советов и не заботясь об общественном мнении.

Ф. Ницше

Лу — это воплощение абсолютного зла.

Ф. Ницше

Соединение силы и полета. Она дает всему максимально мощную возможность осуществиться и наделяет силой полета из чистой страсти ощущать жизнь в ее полноте. Она выносит человека за прожитые границы, ледяная и пылкая в один и тот же миг.

В. Э. фон Гебсаттель

Ее потрясающая особенность — готовность вопреки жизненным обстоятельствам всегда иметь мужество сохранять свою открытость как состояние души. Лу — это смесь предельной серьезности мужчины, отважной беззаботности ребенка и женского усердия.

Х. Клингенберг

Движущая причина ее поведения — это не только эстетическое миропонимание, из которого вытекает активное отношение к миру (как показывают факты). Наполнение самой себя всякий раз новым содержанием — вот ее излюбленное состояние.

Э. Шпрангер

То, что интересует госпожу Саломе — не статическое состояние чего-либо, а всегда сам процесс развития происходящего, становление того, что есть.

А. Хайне

Последние двадцать пять лет жизни этой женщины принадлежали психоанализу. Она привнесла в него очень ценные научные разработки, многие из которых, к тому же,

реализовывала практически. То была исключительная женщина. Я не преувеличу, если буду утверждать, что мы ощущаем как целую эпоху тот период, когда она находилась в рядах наших сотрудников и соратников. Она была подлинным гарантом сохранения истинности психоаналитического учения. Моя дочь, которая ей очень доверяла, сожалеет, что Лу не могла обучаться психоанализу в свои молодые годы. Разумеется, тогда еще ничего не было.

З. Фрейд

Лу, несомненно, должна была быть со всеми своими мужчинами, ибо только так она могла идентифицироваться с хрупкой частью своей личности, которая была ей необходима как основание. Но все мужчины, которых она любила, бывали вынуждены констатировать в итоге, что Луни ничего не дает от себя. Она зеркально возвращала им их содержание. Она порождала в них необходимость творчества и была их стимулом. Но как личность она оставалась игроком. Все ее мужчины нуждались в ней, но каждый ее любовник в конце концов обнаруживал, что она ему не поддается, уклоняется от него.

П. Роазен

Я должен вспомнить еще одну женщину, которой я обязан приобщением к психоаналитической практике: это Лу Андреас-Саломе. В ту пору ей было семьдесят лет, в тиши геттингенской клиники она занималась психоанализом и вела таинственную жизнь Сивиллы нашего духовного мира. Эта удивительная женщина еще сохранила светло-русый цвет волос и гибкость подвижной фигуры, напоминающей молодое деревце… Она обладала способностью мягко и осторожно проницать человеческие души и не страдала мужеподобием погруженной в науку и преисполненной замыслов женщины… Редкий случай, когда человеку удалось глубоко постичь науку психоанализа и сохранить при этом собственную индивидуальность; ни до, ни после я не встречал никого, кто мог бы сравниться в этом с Лу Андреас-Саломе.

Виктор фон Вайцзеккер

Библиография

1. Библиографические указатели

Koepcke, Cordula: Literaturverzeichnis, in: Koepcke, Lou Andreas-Salomé. Leben, Persönlichkeit, Werk. Eine Biographie, Frankfurt/M. 1986, S. 466 f.

Livingstone, Angela: Bibliography, in: Livingstone, Lou Andreas-Salomé. Her Life (as Confidante of Freud, Nietzsche and Rilke) and Writings (on Psychoanalysis, Religion and Sex), London and Bedford 1984, S. 246 f

Müller-Loreck, Leonie: Bibliographischer Anhang, in: Müller-Loreck, Die erzählende Dichtung Lou Andreas-Solomés. Ihr Zusammenhang mit der Literatur um 1900, Stuttgart 1976, S. 227 f

Peters, Heinz F: Die Schriften von Lou Andreas-Salomé, in: Peters,Lou. Das Leben der Lou Andreas-Salomé, München 1964, S. 305 f

Pfeiffer, Ernst: Bibliographischer Hinweis, in: Lou Andreas-Salomé, Lebensrückblick. Grundriß einiger Lebenserinnerungen, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1968, S. 296 f

Welsch, Ursula, und Wiesner, Michaela: Werk-verzeichnis von Lou Andreas-Salomé, in: Welsch und Wiesner, Lou Andreas-Salomé. Vom "Lebensurgrund" zur Psychoanalyse, Munchen-Wien 1988, S. 494 f

2. Произведения

a) Bucher

Im Kampf um Gott (von Henri Lou), Leipzig-Berlin 1885

Henrik Ibsens Frauengestalten, nach seinen sechs Familiendramen, Berlin 1892, 1906

Friedrich Nietzsche in seinen Werken, Wien 1894, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1983

Ruth. Erzählung, Stuttgart 1895 und 1897

Aus fremder Seele. Eine Spätherbstgeschichte, Stuttgart 1896

Fenitschka. Eine Ausschweifung. Zwei Erzählungen, Stuttgart 1898, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1983

Menschenkinder. Novellensammlung, Stuttgart-Berlin 1899, 1902

Ma. Ein Portrait, Stuttgart-Berlin 1901

Im Zwischenland. Fünf Geschichten aus dem Seelenleben halbwüchsiger Mädchen, Stuttgart-Berlin 1902, 1902 (Titelgeschichte gesondert ediert: Leipzig 1930)

Die Erotik. Monographie, Frankfurt/M. 1910, München 1979, Frankfurt/M. 1979, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1985

Drei Briefe an einen Knaben, Leipzig 1917

Das Haus. Familiengeschichte vom Ende des vorigen Jahrhunderts, Berlin 1919 und 1921, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1987

Die Stunde ohne Gott und andere Kindergeschichten, Jena 1921

Der Teufel und seine Großmutter. Traumspiel, Jena 1922

Rydinka. Eine russische Erinnerung, Jena 1923, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1985

Rainer Maria Rilke. Buch des Gedenkens, Leipzig 1928 und 1929, Frankfurt/M. 1987

Mein Dank an Freud, Offener Brief an Professor Freud zu seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, Wien 1931

Lebensrückblick. Grundriß einiger Lebenserinnerungen, hg. von Ernst Pfeiffer, Zürich und Wiesbaden 1951, 1968, neu durchgesehen und mit einem Nachwort versehen von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1974, 1977, neu durchgesehen und ergänzt von Ernst Pfeiffer 1984

Rainer Maria Rilke/Lou Andreas-Salomé. Briefwechsel, Zürich und Wiesbaden 1952, Frankfurt/M. 1957 und 1975

In der Schule bei Freud. Tagebuch eines Jahres, 1912/13, hg, von Ernst Pfeiffer, Zürich 1958, München 1965, Bern 1968, Frankfurt/M.-Berlin-Wien 1983

Sigmund Freud/Lou Andreas-Salomé. Briefwechsel, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1966, 2. Überarb. Aufl. 1980.

Friedrich Nietzsche, Paul Rée, Lou Andreas-Salomé. Die Dokumente ihrer Begegnung, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1970

Drei Dichtungen. Amor, Jutta, Die Tarnkappe, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1981

Eintragungen. Letzte Jahre, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/M. 1982

Ausgewählte Texte, München 1988

b) Artikel, Rezensionen, Erzählungen

Die Wildente I und II, in: Die Freie Buhne, 1, 1890 (1. Kap. von "Henrik Ibsens Frauengestalten")

Friedrich Nietzsche, in: Vossische Zeitung, Nr. 17, Nr. 41 und Sonntagsausg., Nr. 2 und 4, 1891

Ein holländisches Urteil über moderne deutsche Dramen, in: Die Freie Bühne, 2, 1891

Der Realismus in der Religion, in: Die Freie Bühne, 2, 1891

Ossip Schubin, in: Vossische Zeitung, Nr. 15, Nr. 27 und

Sonntagsausg., Nr. 2 und 3, 1892

Gottesschöpfung, in: Die Freie Bühne, 2, 1892

Zum Bilde Friedrich Nietzsches, in: Die Freie Bühne, 3, 1892

Emil Marriot, in: Vossische Zeitung, Nr. 365, Nr. 377, Nr. 389 und Sonntagsausg., Nr. 32–34, 1892

Harnack und das Apostolikum, in: Die Freie Bühne, 3, 1892

Ein Apokalyptiker, in: Das Magazin für Litteratur, 61, 1892

Ideal und Askese, in: Zeitgeist, Nr. 20, Berlin 1893

Die Duse, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Der Talisman, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Hartlebens "Erziehung zur Ehe", in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Ibsen, Strindberg, Sudermann, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Hanna Jagert, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Ein Früchlingsdrama, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Hannele, in: Die Freie Bühne, 4, 1893

Von der Bestie bis zum Gott. Über Totemismus bei den Ursemiten, in: Neue Deutsche Rundschau, Bd. 5, 1894

Das Problem des Islam, in: Vossische Zeitung, Nr. 338, Nr. 350 und Sonntagsausg., Nr. 29 und 30, 1894

Winterlaub (Gedicht), in: Die Frau, 2, 1895

Rote Rosen (Gedicht), in: Die Frau, 2, 1895

Durch Dich (Gedicht), in: Die Frau, 2, 1895

Ricarda Huch: Erinnerungen von Ludolf Ursleu dem Jüngern, in: Die Frau, 3, 1895

Vom Ursprung des Christenthums, in: Vossische Zeitung, Nr. 599 und Sonntagsausg., Nr. 51, 1895

Kampfruf (Gedicht), in: Die Frau, 3, 1896

Jesus der Jude, in: Neue Deutsche Rundschau, 7, 1896

Scandinavische Dichter, in: Cosmopolis, 1896

Ein überlebter Traum, in: Westermanns Illustrierte Deutsche Monatshefte, Bd. 82, 1897 ("Eine Ausschweifung")

Abteilung "Innere Männer", in: Cosmopolis, 1897 (auch in: "Menschenkinder")

Sovremennye pisatel'nitsy, in: Severny vestnik, Bd. 11, 1897

Russische Dichtung und Kultur, in: Cosmopolis, 1897

Aus der Geschichte Gottes, in: Neue Deutsche Rundschau, 8, Bd. 2, 1897

Amor (mit L. Volynsky), in: Severny vestnik, Bd. 9, 1897

Das russische Heiligenbild und sein Dichter, in: Vossische Zeitung, Nr. 1 und Sonntagsausg., Nr. 1, 1898

Russische Philosophie und semitischer Geist, in: Die Zeit (Wien), 14, 1898

Drama "molodoi Germanii", in: Severny vestnik, Bd. 2, 1898

Religion und Cultur, in: Die Zeit (Wien), 14, 1898

Vom religiösen Affekt, in: Die Zukunft, 23, 1898

Mißbrauchte Frauenkraft, in: Die Frau, 5, 1898

Mädchenreigen, in: Cosmopolis, 1898 (auch in: "Menschenkinder")

Fenitschka, in: Die Romanwelt, 5, Bd. 1, 1898

Ein Todesfall, in: Cosmopolis, 1898 (auch in: "Menschenkinder")

Paul Mongré: Sant'Ilario, in: Die Zeit (Wien), 16, 1898

Physische Liebe, in: Die Zukunft, 25, 1898

Leo Tolstoi, unser Zeitgenosse. Eine Studie, in: Neue Deutsche Rundschau, 9, Bd. 2, 1898

Grundformen der Kunst. Eine psychologische Studie, in: Pan, 4, 1898/99

Adine Gemberg: Der Dritte Bruder, in: Das Literarische Echo, 1, 1898

S. Hochstetter: Sehnsucht, Schönheit, Dämmerung. Die Geschichte einer Jugend, in: Das Literarische Echo, 1, 1898

Paul Nikolaus Cossmann: Aphorismen, in: Das Literarische Echo, 1, 1898/99

Fürst Sergei Wolkonskij: Bilder aus der Geschichte und Literatur Rußlands, in: Das Literarische Echo, 1, 1898/99

Adalbert Meinhardt: Stilleben, in: Das Literarische Echo, 1, 1898/99

Thomas P. Krag: Die eherne Schlange, in: Das Literarische Echo, 1, 1899

Inkognito, in: Vom Fels zum Meer, 35, 1898/99 (auch in: "Menschenkinder")

Ein Wiedersehen, in: Die Frau, 6, 1898/99 (auch in: "Menschenkinder")

Das Paradies, in: Deutsche Dichtung, 25, 1898/99 (auch in: "Menschenkinder")

Ketzereien gegen die moderne Frau, in: Die Zukunft, 26, 1899 (neu ediert in: E. Rupprecht und D. Bänsch (Hg.), Literarische Manifeste der Jahrhundertwende 1890–1900, Stuttgart 1970)

Der Mensch als Weib (Ein Bild im Umriß), in: Neue Deutsche Rundschau, 10, Bd. 1, 1899 (auch in: "Die Erotik")

Vom Kunstaffekt, in: Die Zukunft, 27, 1899, später in: Monatsschrift für Rußland, 1, 1912

Erleben, in: Die Zeit (Wien), 20, 1899

Zurück ans All, in: Die Romanwelt, 6, Bd. 1, Bd. 2, Bd. 3, 1899 (auch in: "Menschenkinder")

Der Egoismus in der Religion, in: Der Egoismus, hg. von Arthur Dix, Leipzig 1899

Russische Geschichten, in: Die Zeit (Wien), 15, 1899

Ellen Key: Essais, in: Das Literarische Echo, 2, 1899

Friedrich Nietzsche i Hans Voerker, in: Samtiden, 1899

Gedanken über das Liebesproblem, in: Neue Deutsche Rundschau, 11, Bd. 2, 1900 (auch in: "Die Erotik")

Wilhelm Bölsche: Vom Bazillus zum Affenmenschen. Naturwissenschaftliche Plaudereien, in: Das Literarische Echo, 2, 1900

Die Schwester, in: Die Romanwelt, 7, Bd. 2, 1900 (auch in: "Im Zwischenland")

Wiedersehn (Gedicht), in: Vom Fels zum Meer, 39, 1900/01

Ein Dank an einen Dichter (Zur Würdigung des "Michael Kramer" von Gerhart Hauptmann), in: Der Lotse, Hamburgische Wochenzeitschrift für deutsche Kultur, 1, Bd. 29, 1901

An den Kaiser, in: Die Gesellschaft, 1901

Alter und Ewigkeit, in: Die Zukunft, 37, 1901

Wolga (Gedicht), in: Vom Fels zum Meer, 40, 1901 (auch in: "Lebensrückblick")

Wolga, in: Deutsche Roman-Bibliothek, 1901 (auch in: "Im Zwischenland")

Abschied (Gedicht), in: Vom Fels zum Meer, 40, 1901

Vaters Kind, in: Vom Fels zum Meer, 40, 1901 (auch in: "Im Zwischenland")

Der Graf von Charolais, in: Die Zukunft, 50, 1905

Das Glashüttenmärchen, in: Die Zukunft, 54, 1906

Frühlings Erwachen, in: Die Zukunft, 58, 1907

Lebende Dichtung, in: Die Zukunft, 62, 1908

Vier Kammerspiele, in: Die SchauBühne, 4, Bd. 1, 1908

Die Russen, in: Die SchauBühne, 5, Nr. 39, 1909

Die Nacht, in: Novellenbuch, Bd. 5, Frauennovellen, Bd. 22 der Hausbücherei der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung, Hamburg 1909 (auch in: "Menschenkinder")

Der Lebensbund, in: Die Neue Generation, 6, 1910 (auch in: "Die Erotik")

Erika Rhenisch: Das Kindlein, in: Das Literarische Echo, 14, 1911

Im Spiegel, in: Das Literarische Echo, 14, 1911

Elisabeth Siewert, in: Das Literarische Echo, 14, 1912

Von Paul zu Pedro, in: Die Neue Generation, 8, 1912

Aus dem Briefwechsel Leo Tolstois, in: Das Literarische Echo, 15, 1913

Von frühem Gottesdienst, in: Imago, 2, Bd. 5, 1913

Das Bändnis zwischen Tor und Ur, in: Velhagen und Klasings Monatshefte, 28, 1914 (auch in: "Die Stunde ohne Gott")

Seelchen, eine Weihnachtsgeschichte, in: Velhagen und Klasings Monatshefte, 28, 1914

Seelchen, eine Ostergeschichte, in: Velhagen und Klasings Monatshefte, 28, 1914

Zum Typus Weib, in: Imago, 3, Bd. 1, 1914 (neu veröff. in: Die Psychoanalytische Bewegung, 3, 1931)

Kind und Kunst, in: Das Literarische Echo, 17, 1914/15

Zum Bilde Strindbergs, in: Das Literarische Echo, 17, 1915

Bericht über einen Weihnachtsmann, in: Velhagen und Klasings Monatshefte, 29, 1915 (auch in: "Drei Briefe an einen Knaben")

"Anal" und "Sexual", in: Imago, 4, Bd. 5, 1916

Angela Langer, in: Das Literarische Echo, 19, 1916

Expression, in: Das Literarische Echo, 19, 1917

Insekt und Krieg (zu I. H. Farbes), in: Die Tat, 1917

Luzifer. Eine Phantasie über Ricarda Huchs Buch "Luthers Glaube", in: Die Neue Generation, 1917

Psychosexualitдt, in: Zeitschrift für Sexualwissenschaft, 1-12, 1917 (auch in: "Die Erotik")

Nadja Strasser; Die Russin, in: Die Neue Generation, 13, 1917

Karl Nötzels Tolstoi, in: Das Literarische Echo, 20, 1917/18

Dichterischer Ausdruck, in: Das Literarische Echo, 21, 1918

Strindberg. Ein Beitrag zur Soziologie der Geschlechter von Leopold Wiese, in: Das Literarische Echo, 21, 1918/19

Des Dichters Erleben, in: Die Neue Rundschau, 30, Bd. 1, März 1919

Tolstois Jugendtagebuch, in: Der Neue Merkur, 3, 1919

Der geistliche Russe, in: Der Neue Merkur, 3, 1919

Agnes Henningsen, in: Das Literarische Echo, 22, 1919/20

Nikolaus Leskow: Die Kleriserei, in: Das Literarische Echo, 22, 1920

Isolde Kurz: Im Traumland, in: Das Literarische Echo, 22, 1920

Géza Roheim: Spiegelzauber, in: Das Literarische Echo, 22, 1920

Der goldene Vogel, in: Die Flüte, 2, 1919/20

Hymnus an das Leben, in: Das Inselschiff 1, 1919/20

Unser Anteil an Dostojewski und Tolstoi, in: Vossische Zeitung, Nr. 365 und Sonntagsausg., Nr. 32, 1920

Kurt Engelbrecht: Diekmanns Denkwürdigkeiten — Erinnerungen Bücherei, Bd. 1, Die Liebe, in: Das Literarische Echo, 22, 1920

Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens, in: Das Literarische Echo, 22, 1920

Waldemar Bonsels, in: Das Literarische Echo, 23, 1920

Michael Saltykow-Schtschedrin: Satiren, in: Das Literarische Echo, 23, 1920

Gott gegen Gott, in: Der Neue Merkur, 4, 1920/21

Hermann Keyserling: Der Ruf des Philosophen, in: Der Neue Merkur, 4, 1920/21

Waldemar Bonsels: Eros, in: Das Literarische Echo, 23, 1920/21

Russische Romantik, in: Romantik, 3, 1921

Gustav Landauer: Der werdende Mensch, in: Das Literarische Echo, 24, 1921

Hans Jäger: Kranke Liebe, in: Das Literarische Echo, 24, 1921/22

Die Geschwister, in: Deutsche Rundschau, Bd. 189, 1921

Theodor Zell: Die Diktatur der Liebe, in: Das Literarische Echo, 24, 1921/22

Narzißmus als Doppelrichtung, in: Imago, 6, Bd. 4, 1921

Tendenz und Form russischer Dichtung, in: Das Literarische Echo, 24, 1922

Eros, in: Faust. Eine Monatsschrift für Kunst, Literatur und Musik, 9, 1922/23

Zum sechsten Mai 1926, in: Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages, Wien 1927

Was daraus folgt, daß es nicht die Frau gewesen ist, die den Vater erschlagen hat, in: Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages, Wien 1928

Rilke und Rußland, in: Russische Blätter, Nr. 1, 1928 (auch in: "Rainer Maria Rilke")

Der Kranke hat immer recht, in: Almanach des Internationalen Psychoanalytischen Verlages, Wien 1933

Paris, Wien und München, in: Insel-Almanach 1952 (auch in: "Lebensrückblick")

Lou Andreas-Salomé und Rainer Maria Rilke. Briefe, in: Du, 12, Bd. 1, 1952

Zu Besuch bei Freud. Auszug aus Lou Andreas-Salomés Tagebuch vom November 1921, hg. von Ernst Pfeiffer, in: Almanach des S. Fischer Verlags. Das neunundsiebzigste Jahr, Frankfurt/M. 1965

Miterleben: Tier und Pflanze. Alles Lebendige meinet den Menschen, in: I. Buck und G. K. Schauer [Hg.], Gedenkbuch für Max Niehans, Bern 1972

c) Unveröffentlichte Manuskripte (im Lou Andreas-Salomé Archiv, Göttingen)

Tagebücher von Nov. 1893-Juli 1900 und Nov. 1900-Dez. 1934

Die Rußlandreise, 1900

Der Stiefvater. Spiel in drei Akten, 1925-1930

Der Gott (teilweise veröff. in: Miterleben: Tier und Pflanze. Alles Lebendige meinet den Menschen, in: I. Buck und G. K. Schauer [Hg.], Gedenkbuch für Max Niehans, Bern 1972)

3. Лу Саломе и ее время (избранные произведения)

Bab, Hans Jorgen: Lou Andreas-Salome. Dichtung und

Personlichkeit, Diss. Berlin 1955

Bahr, Hermann: Die Überwindung des Naturalismus. Als zweite Reihe von "Zur Kritik der Moderne", Dresden und Leipzig 1891

Bäumer, Gertrud: Lou Andreas-Salomé, in: Die Frau, 44, 1936/37 und in: Gestalt und Wandel, Frauenbildnisse, 1939

Berlin, Isaiah: Russische Denker, Frankfurt/M. 1981

Binion, Rudolph: Frau Lou. Nietzsche's Wayward Disciple, Princeton 1968

Böckmann, Paul: Die Bedeutung Nietzsches für die Situation der modernen Literatur, in: Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, 27, 1953, S. 77 f

Bourget, Paul: Psychologische Abhandlungen über zeitgenössische Schriftsteller, München 1903 (1883)

Brandes, Georg: Moderne Geister. Literarische Bildnisse aus dem XIX. Jahrhundert, Frankfurt/M. 1887

Menschen und Werke. Essays, Frankfurt/M. 1894

Chapple, Gerald, und Schulte, Hans H. (Hg.): The Turn of the Century. German Literature and Art, 1890–1915, Bonn 1981

Gropp, Rose M.: Andreas-Salomé mit Sigmund Freud, Ergebnisse der Frauenforschung, 13, Weinheim-Basel 1988

Guery, F.: Lou Salomé: génie de la vie, Paris 1978

Hamsun, Knut: Psychologie und Dichtung, Stuttgart 1964

Heimpel, Elisabeth: Lou Andreas-Salomé, in: Neue deutsche Biographie, Bd. 1, 1953

Herz, Rudolf, und Bruns, Brigitte (Hg.): Hof-Atelier Elvira. 1887–1928. Ästheten, Emanzen, Aristokraten, München 1985

Koepcke, Cordula: Lou Andreas-Salomé. Ein eigenwilliger Lebensweg. Ihre Begegnung mit Nietzsche, Rilke und Freud, Freiburg i. B. 1982

Lou Andreas-Salomé. Leben, Persönlichkeit, Werk. Eine Biographie, Frankfurt/M. 1986

Livingstone, Angela: Lou Andreas-Salomé. Her Life (as Confidante of Freud, Nietzsche and Rilke) and Writings (on Psychoanalysis, Religion and Sex), London and Bedford 1984

Lublinsky, Samuel: Der Ausgang der Moderne, hg. von Gotthart Wunberg, T□bingen 1976

Muller-Loreck, Leonie: Die erzählende Dichtung Lou Andreas-Salomé: Ihr Zusammenhang mit der Literatur um 1900, Diss. 1972, veröff. Stuttgart 1976

Peters, Heinz F.: My Sister. My Spouse. A Biography of Lou Andreas-Salomé, New York 1962, London 1963; dt. Ausgabe: Lou. Das Leben der Lou Andreas-Salomé, München 1964

Pfeiffer, Ernst: Lou Andreas-Salomé, in: Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur, München 1965

Podach, Erich F.: Friedrich Nietzsche und Lou Salomé: Ihre Begegnung 1882, Zürich und Leipzig 1938

Schmidt Mackey, Ilona: Lou Salomé. Inspiratrice et interprète de Nietzsche, Rilke et Freud, Paris 1968

Soergel, Albert: Dichtung und Dichter der Zeit. Eine Schilderung der deutschen Literatur der letzten Jahrzehnte, 2 Bde., Leipzig 1911

Welsch, Ursula, und Wiesner, Michaela: Lou Andreas-Salomé. Vom "Lebensurgrund" zur Psychoanalyse, München-Wien 1987

Worbs, Michael: Nervenkunst, Frankfurt/M. 1983

Wunberg, Gotthart: Das junge Wien. Österreichische Literatur und Kunstkritik, 1887–1902, 2 Bde., Tubingen 1976

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Лу Саломе.
ФРИДРИХ НИЦШЕ В ЗЕРКАЛЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА

"Mihi ipsi scripsi!" ("Обращаю к самому себе") — не раз восклицал Ницше в своих письмах, говоря о каком-либо законченном им произведении. И это немало значит в устах первого стилиста нашего времени, человека, которому удавалось найти, можно сказать, исчерпывающее выражение не только для каждой мысли, но и для тончайших ее оттенков. Тому, кто вчитался в произведения Ницше, слова эти покажутся особенно знаменательными. Ведь, по сути, он и думал, и писал только для себя, и только самого себя описывал, превращая свое внутреннее "я" в отвлеченные мысли.

Если задача биографа заключается в том, чтобы объяснить мыслителя данными его личной жизни и характера, то это в очень высокой степени применимо к Ницше, ибо ни у кого другого внешняя работа мысли и внутренний душевный мир не представляют такого полного единения. К нему наиболее применимо и то, что он сам говорит о философах вообще: все их теории нужно оценивать в применении к личным поступкам их создателей. Он выразил эту же мысль в следующих словах: "постепенно я понял, чем до сих пор была всякая великая философия, — исповедью ее основателя и своего рода бессознательными, невольными мемуарами" ("По ту сторону Добра и Зла").

Этим я и руководствовалась в своем этюде о Ницше, набросок которого прочла ему в октябре 1882 года. К самому "учению Ницше" я еще тогда не приступала. Однако из года в год, по мере появления новых произведений Ницше, мой этюд о нем разрастался. Свою исключительную задачу я видела в характеристике основных черт духовного облика Ницше, которые обу-словливали развитие его философских идей. Тот, кто стал бы оценивать Ницше как теоретика, взвешивать, что внес он в отвлеченную философскую науку, тот испытал бы разочарование и не постиг бы истинного источника силы Ницше. Значение этих идей не в их теоретической оригинальности, не в том, что может быть теоретически подтверждено или опровергнуто; все дело в той интимной силе, с которой личность обращается к личности, в том, что, по его собственному выражению, может быть опровергаемо, но не может быть "похоронено".

Кто, с другой стороны, захочет руководствоваться лишь

внешней жизнью Ницше для понимания его внутреннего мира, тот опять-таки будет держать в руках лишь пустую оболочку.

Ведь, в сущности, никаких внешних событий в его жизни не происходило. Все переживаемое им было столь глубоко внутренним, что могло находить выражение лишь в беседах с глазу на глаз и в идеях его произведений. Монологи в миниатюре, которые составляют, главным образом, его многотомные собрания афоризмов, образуют единый и весьма обширный корпус мемуаров, высвечивая его собственный духовный облик. Этот облик я и попытаюсь воспроизвести здесь, передавая события — картины — его душевной жизни через его же философские изречения.

* * *

Хотя в последние годы о Ницше говорят больше, чем о каком-либо другом мыслителе, основные черты его духовного облика почти неизвестны. С тех пор как маленький, разрозненный кружок читателей, которые действительно понимали его, превратился в обширный круг почитателей, он стал достоянием масс, испытав при этом судьбу всякого автора афоризмов. Отдельные его идеи, вырванные из контекста и допускающие вследствие этого самые разнообразные толкования, превратились в девизы для разных, порой противоположных идейных направлений и используются в ожесточенных спорах, в борьбе убеждений, в столкновениях различных партий, совершенно чуждых их автору. Конечно, этому обстоятельству он обязан своей быстрой славой, внезапным шумом, который поднялся вокруг его мирного имени, — но то истинно высокое, истинно самобытное, что таилось в нем, по этой причине оказалось незамеченным, непознанным, быть может, даже отошло в более глубокую тень, чем прежде. Многие, правда, еще превозносят его достаточно громко, со всей наивностью слепой веры, не знающей критики, но именно они и напоминают невольно о его собственных жестоких словах. В своем разочаровании он говорит: "Я прислушивался к отклику и услышал лишь похвалы" ("По ту сторону Добра и Зла"). Едва ли кто-то пошел за ним, прочь от людей и повседневности, в одиночество своего внутреннего мира, едва ли хоть кто-нибудь сопутствовал этому недоступному, одинокому, замкнутому, странному духу, который мнил себя носителем чего-то безграничного и пал под бременем страшного безумия.

Порою кажется, что он стоит среди людей, ценивших его, как чуждый пришелец, как отшельник, который, только заблудившись, попал в их круг. С закутанной его фигуры никто не снял покрывала, и он стоит с жалобой своего "Заратустры" на устах: "Они все говорят обо мне, собравшись вечером вокруг огня,

но никто не думает обо мне! Это та новая тишина, которую я познал: их шум расстилает плащ над моими мыслями".

* * *

Фридрих Вильгельм Ницше родился 15 октября 1844 года в семье пастора в Рекене близ Люцена. После окончания школы поступил на филологический факультет Боннского университета, а с 1865 года продолжил обучение в Лейпциге, куда последовал за своим учителем — профессором филологии Ричлем. Еще до получения диплома 24-летнего Ницше пригласили занять кафедру. Ницше получил место ординарного профессора классической филологии. Лейпцигский университет дал ему докторскую степень без предварительного экзамена. Он также стал преподавать греческий в третьем (высшем) классе Базельского педагогиума, который представлял нечто среднее между гимназией и университетом. Ницше имел огромное влияние на учеников, обнаружив редкое умение привлекать к себе молодые умы. Историк культуры Якоб Буркхардт говорил, что Базель никогда еще не имел такого учителя.

В 1870 году во время франко-прусской войны Ницше был добровольным санитаром. Вскоре после этого у него начались периодические приступы сильных головных болей. "Несколько раз спасенный от смерти у самого ее порога и преследуемый страшными страданиями — так я живу изо дня в день; каждый день имеет свою историю болезни". Этими словами Ницше описывает в письме к одному приятелю страдания, которые он испытывал на протяжении пятнадцати лет. В начале 1876 года из-за частых приступов он был вынужден уйти из педагогиума.

Зиму 1876/77 гг. Ницше провел в мягком климате Сорренто, где жил в обществе нескольких друзей: из Рима приехала его давняя приятельница Мальвида фон Мейзенбух (автор известных "Мемуаров идеалистки"), из восточной Пруссии прибыл д-р Пауль Рэ, с которым Ницше уже тогда соединяла крепкая дружба. Увы, пребывание на юге не облегчило страданий. Ницше был вынужден окончательно бросить преподавательскую деятельность. С 1879 года он оставил и профессуру. Вел, в основном, отшельническую жизнь, чаще в Италии — в Генуе, частью — в Швейцарских горах, в Энгадине, в маленькой деревушке Сильс-Мария. Пожалуй, внешняя сторона его жизни на этом и заканчивается, между тем как духовная его жизнь только тогда в сущности и началась.

Его наружность к тому времени приобрела наибольшую выразительность, в лице его светилось то, что он не высказывал, а таил в себе. Именно эта замкнутость, предчувствие затаенного одиночества и производило при первой встрече сильное

впечатление. При поверхностном взгляде внешность эта не представляла ничего особенного, с беспечной легкостью можно было пройти мимо этого человека среднего роста, в крайне простой, но аккуратной одежде, со спокойными чертами лица и гладко зачесанными назад каштановыми волосами. Тонкие, выразительные линии рта были почти совсем прикрыты большими, начесанными вперед усами. Смеялся он тихо, тихой была и манера говорить; осторожная, задумчивая походка и слегка сутуловатые плечи. Трудно представить себе эту фигуру среди толпы — она носила отпечаток обособленности, уединенности. В высшей степени прекрасны и изящны были руки Ницше, невольно привлекавшие к себе взгляд; он сам полагал, что они выдают силу его ума. "Бывают люди, — писал он, — которые неизбежно обнаруживают свой ум, как бы они ни увертывались и ни прятались, закрывая предательские глаза руками (как будто рука не может быть предательской!)" ("По ту сторону Добра и Зла").

Истинно предательскими в этом смысле были и его глаза. Хотя он был наполовину слеп, глаза его не щурились, не вглядывались со свойственной близоруким людям пристальностью и невольной назойливостью; они скорее глядели стражами и хранителями собственных сокровищ, немых тайн, которых не должен касаться ничей непосвященный взор. Слабость зрения придавала его чертам особого рода обаяние: вместо того чтобы отражать меняющиеся внешние впечатления, они выдавали только то, что прошло раньше через его внутренний мир. Глаза его глядели внутрь и в то же время — минуя близлежащие предметы — куда-то вдаль, или, вернее, они глядели внутрь, как бы в безграничную даль. Ведь в сущности вся его философия была поиском, изыскиванием в человеческой душе неведомых миров, "неисчерпанных возможностей" ("По ту сторону Добра и Зла"), которые он создавал и пересоздавал. Иногда во время какой-нибудь волнующей его беседы с глазу на глаз он становился совершенно самим собою, и тогда в глазах его вспыхивал и вновь куда-то исчезал поражающий блеск; в угнетенном состоянии из глаз его мрачно струилось одиночество, высвечиваясь как бы из таинственных глубин — глубин, в которых он постоянно оставался один, делить которые не мог ни с кем и пред силой которых ему самому становилось жутко, — пока глубина эта не поглотила, наконец, и его дух.

Такое же впечатление — чего-то скрытого, затаенного — производило и обращение Ницше. В обыденной жизни он отличался большой вежливостью, мягкостью, ровностью характера — ему нравились изящные манеры. Но во всем этом

сказывалась его любовь к притворству, к завуалированности, к маскам, оберегающим внутреннюю жизнь, которую он почти никогда не раскрывал.

Я помню, при первой моей встрече с Ницше — это было весной, в церкви Св. Петра в Риме — его намеренная церемонность меня удивила и ввела в заблуждение. Но недолго обманывал относительно самого себя этот одинокий человек: он неумело носил свою маску, наверное, так, как носит обычное платье горожан пришедший с горных высот и из пустынь человек. Ницше сам сформулировал это, написав: "Относительно всего, что человек позволяет видеть в себе, можно спросить: что оно должно собою скрывать? От чего должно оно отвлекать взор? Какой предрассудок должно оно задеть? И затем еще: как далеко идет тонкость этого притворства? В чем человек выдает себя при этом?"

По мере того как росло в нем чувство уединения, все, обращенное к внешнему миру, становилось притворством — обманчивым покрывалом, которое ткала вокруг себя глубочайшая страсть одиночества, как бы временной внешней оболочкой, видимой для человеческого глаза. "Люди, глубоко думающие, кажутся себе актерами в отношениях с другими людьми, ибо для того, чтобы быть понятыми, они должны надеть на себя внешний покров" ("Человеческое, слишком человеческое"). Можно сказать, что идеи Ницше подобны "коже, которая кое-что выдает, но гораздо больше таит" ("По ту сторону Добра и Зла"); "потому что, — говорит он, — нужно или скрывать свои мысли, или скрывать себя за своими мыслями" ("Человеческое, слишком человеческое"). "Все, что глубоко, любит маски… Всякий глубокий ум нуждается в маске: скажу более, — у каждого высокого ума постоянно образуется маска:

— Странник, это ты?.. Отдохни здесь… Оправься!.. Что послужит тебе отдохновением?..

— Отдохновением? Отдохновением? О любопытный, что ты говоришь! Но дай мне, прошу тебя?..

— Что? Что? назови!

— Еще одну маску! Вторую маску! ("По ту сторону Добра и Зла".)

И в той степени, в какой его уединенность и самоуглубление становятся все сосредоточеннее, значение каждой новой маскировки делается все глубже. Истинная сущность прячется за формой выражения, внутренняя — за усвоенной маской. Уже в "Страннике и его тени" он указывает на "маску посредственности". "Посредственность, — говорит он, — одна из самых счастливых масок, которую может надеть высший ум, потому что в ней толпа,

т. е. именно средние люди, не станет подозревать притворства, а между тем он наденет ее ради самих людей, — чтобы их не раздражать, нередко даже из сострадания и доброты". От этой маски невинности и незлобивости Ницше доходит, варьируя формы притворства, до маски ужаса, за которой скрывается нечто еще более ужасающее: — "иногда даже глупость делается маской рокового, слишком уверенного в себе знания" ("По ту сторону Добра и Зла"). В конце концов он приходит к обманчивому образу богоподобно смеющегося, и в нем стремится замаскировать скорбь красотой. Таким образом в своей философской мистике последнего периода Ницше постепенно погружается в то последнее для себя уединение, в ту тишину, куда мы уже не в силах последовать за ним; с нами остаются только, как символы и указания, смеющиеся маски его идей и толкований, в то время как сам автор уже стал для нас тем, кем он сам назвал себя в одном из писем: "Навеки утраченный" (письмо от 8 июля 1881 г. из Сильс-Марии).

Чувство внутреннего уединения, одиночества составляет во всех блужданиях Ницше неизменную раму, из которой глядит на нас его образ. Он пишет своему другу (31 октября 1880 г., Италия): "Одиночество все более кажется мне и целительным средством, и естественной потребностью, и именно полное одиночество. Нужно уметь достигнуть того состояния, в котором мы можем создать лучшее, на что мы способны, и нужно принести для этого много жертв".

* * *

Не раз мучительная жажда выздоровления приводила Ницше к новым идеям. Но стоило ему отразить себя в них, ассимилировать их своей собственной силой — как его охватывала новая горячка, тревожно толкающая избыток его внутренней энергии, который, в конце концов, направлял жало против него самого, делая его больным самим собою. "Только избыток силы есть доказательство силы", — сказал Ницше в предисловии к "Сумеркам Богов"; — в этом излишке сила его сама создает себе страдания, изводит себя в мучительной борьбе, возбуждает себя к мукам и потрясениям, которыми обусловливается творчество духа. С гордым восклицанием: "что не убивает меня, то делает меня сильнее!" ("Сумерки Богов"), — он истязает себя не до полного изнеможения, не до смерти, а как бы нанося себе болезненные раны, в которых он так нуждался. Этот поиск страдания проходит через всю деятельность Ницше, образуя истинный *источник его духовной жизни.* Лучше всего это выразилось в следующих словах: "Дух есть жизнь, которая сама же наносит жизни раны: и ее собственные страдания увеличивают ее

понимание — знали ли вы уже это раньше? И счастье духа заключается в том, чтобы быть помазанным и обреченным на заклание — знали ли вы уже это?.. Вы знаете только искры духа: но вы не видите, что он в то же время и наковальня, и не видите беспощадность молота!" ("Так говорил Заратустра".)

"Упругость души в несчастии, ее ужас при виде великой гибели, ее изобретательность и мужество в том, как она носит горе, смиряется и извлекает из несчастия всю его пользу, и, наконец, все, что ей дано — глубина, таинственность, притворство, ум, хитрость, величие, — разве это дано ей не среди скорбей, не в школе великого страдания? ("По ту сторону Добра и Зла".) Ницше всякий раз нужно, чтобы душа пламенела для того, чтобы получить ясность и яркий свет познания, но пламень этот никогда не должен превращаться в благотворную теплоту, а должен ранить сжигающими и сверкающими огнями.

Эта необыкновенная способность уживаться заново с самым тяжелым насилием над собой, осваиваться с каждым новым пониманием вещей существовала как бы для того, чтобы разлука со вновь приобретенным делалась с каждым разом все более потрясающей. "Я иду! Сожги свою хижину и иди мне навстречу!" — повелевает ему дух, и упрямой рукой он вновь и вновь лишает себя крова и идет в темницу, навстречу приключениям, с жалобой на устах: "Я должен снова подняться на ноги, на усталые, израненные ноги: но я вынужден это сделать, и на самое прекрасное, не имевшее силы удержать меня, я оглядываюсь злобным взором — именно потому, что оно не смогло удержать меня!" ("Веселая наука".) Как только ему становилось отрадно среди какого-нибудь миросозерцания, на нем самом исполнялось его же пророчество: "Кто достиг своего идеала, тот тем самым и перешагнул через него" ("По ту сторону Добра и Зла").

Перемены воззрений, склонность к метаморфозам лежат в самой глубине философии Ницше и как бы образуют лейтмотив его системы познания. "Мы бы не дали себя сжечь за свои убеждения, — сказано в "Страннике и его тени", — мы не настолько уверены в них. Но, быть может, мы пошли бы на костер за свободу иметь мнения и иметь право менять их". В "Утренней заре" этот взгляд отражен в следующих прекрасных словах: "Никогда ничего не утаивать, не скрывать от себя того, что может быть сказано против твоей идеи. Это ты должен обещать самому себе! Это первый долг честного мыслителя. Нужно каждый день вести крестовый поход против самого себя. Победа и завоевание крепости уже касаются не тебя, а истины — но и твое поражение не должно смущать тебя!" Заглавием к этим мыслям служат

слова: "насколько мыслитель любит своего врага". Но эта любовь к врагу исходит из смутного предчувствия, что во враге скрывается, быть может, будущий союзник и что только побежденного ждут новые победы: она исходит из предчувствия, что однообразный мучительный процесс внутренних метаморфоз составляет необходимое условие всякого творчества. "Дух спасает нас от полного нетления и превращения в обгоревший уголь. — Спасаясь от огня, мы шествуем, побуждаемые духом, от мнения к мнению, — как *благородные предатели* всего на свете" ("Человеческое, слишком человеческое"). — "Мы *должны* стать предателями, совершать измены, покидать свои идеалы" ("Человеческое, слишком человеческое"). Этот одинокий человек должен был умножаться, распадаться на множество мыслителей по мере того, как он замыкался в самом себе; — только таким образом он мог жить духовной жизнью. Влечение к насилию над самим собой было своего рода стремлением к самосохранению; только погружаясь во все новые муки, он спасался от своих страданий. "Я неуязвим только в моей пяте!.. И только там, где есть гробы, возможно воскресение!.. Так пел Заратустра" — "тот, которому жизнь однажды открыла следующую тайну: "смотри, — сказала она, — я — то, что должно быть всегда побеждаемо".

Мучительное сознание собственного несовершенства влекло его к идеалу: "Наши недостатки — глаза, которыми мы можем увидеть идеал" ("Человеческое, слишком человеческое").

Я прибавляю к этому три афоризма, которые он однажды написал для меня и в которых его миросозерцание отразилось с особой резкостью:

"Противоположностью героического идеала является идеал гармоничного, всестороннего развития, — прекрасный и крайне желательный контраст! Но это идеал только вполне хороших людей (например, Гете)".

Далее: "Героизм — это стремление к той цели, по отношению к которой сам человек уже совершенно не принимается во внимание. Героизм — добровольное согласие на абсолютное самоуничтожение".

И третий афоризм: "Люди, которые стремятся к величию, — обыкновенно дурные люди, это единственный для них способ *переносить самих себя*". Слово "дурной", так же, как выше слово "хороший", не употреблено здесь в обычном своем значении и вообще не выражает никакой оценки; оно только служит определением известного состояния души.

Словом "дурной" Ницше обозначает "внутреннюю войну" в человеческой душе, то, что впоследствии он называл "анархией инстинктов".

Он отличает гармоничную, или цельную, натуру от героической, или состоящей из противоположностей; эти натуры соответствуют типам деятельного и познающего человека, другими словами — типу его собственной души и диаметрально ей противоположной. Человеком деятельным он считает нераздельного и не знающего разлада, т. е. человека с инстинктом прирожденного властелина. Если такой человек следует своему естественному развитию, его натура становится все увереннее в себе и обнаруживает свою сосредоточенную силу в здоровых поступках. Препятствия, которые ставит ему внешний мир, только еще более возбуждают его деятельность: ибо нет для него более естественного состояния, чем борьба с внешним миром, и ни в чем его здоровье не обнаруживается полнее, чем в умелом ведении борьбы. Все равно, велик или мал его ум: в том и другом случае он остается во власти этой свежей силы своей натуры и того, что ей необходимо и полезно. Он не противопоставляет в своих стремлениях самого себя своей природе, он не разлагает ее, не идет по своим собственным следам.

Совершенно иным представляется познающий человек. Вместо того чтобы стремиться к объединению своих стремлений, к единству, оберегающему и сохраняющему их, он дает им развиться в какие угодно стороны: чем шире область, которую они стремятся захватить, тем лучше, чем больше предметов, к которым они протягивают свои щупальцы и которые они рассматривают, щупают, слушают, тем полезнее это для его целей — для целей познания. Для него "жизнь становится средством познания" ("Веселая наука"), и он говорит, обращаясь к своим единомышленникам: "Будемте сами объектами экспериментов, живым материалом для опытов!" (там же). Таким образом, он сам разрушает свое единство — чем многостороннее субъект, тем лучше:

"Резкий и мягкий, грубый и нежный, доверчивый и странный, грязный и чистый, соединение глупца и мудреца — я все это и хочу всем этим быть — и голубкой, и в то же время змеей и свиньей".

"Ибо мы, познающие, — говорит он, — должны быть благодарны Богу, дьяволу, овце и червю в нас… внешним и внутренним душам, глубину которых нелегко постичь, с их внешними и внутренними пространствами, до крайнего предела которых не смогут добежать ничьи ноги" ("По ту сторону Добра и Зла"). Познающий имеет душу, "которая владеет самой высокой лест-ницей и может наиболее глубоко опуститься в землю, самую обширную душу, которая широко блуждает и бродит в себе

самой, которая бежит от себя самой и нагоняет себя в самых далеких кругах; самую мудрую душу, которой безумие нашептывает сладкие речи, — наиболее любящую себя душу, в которой все имеет свое течение и истечение, свои приливы и отливы…" ("Так говорил Заратустра").

С такой душой человек обретает "тысячу ног и тысячу щупальцев" ("По ту сторону Добра и Зла") и постоянно стремится убежать от самого себя и ввести себя в другое существо: "Когда, наконец, находишь самого себя, нужно уметь от времени до времени терять себя и потом опять находить. Конечно, это относится только к мыслителю: ему вредно быть всегда замкнутым в одной личности" ("Странник и его тень"). То же самое говорят и его стихи: "Мне ненавистно вести самого себя!

Я люблю подобно лесным и морским животным потерять себя на долгое время, задумчиво бродить в заманчивой чаще. Издалека, наконец, приманить себя домой и завлечь самого себя к себе!" ("Веселая наука".)

Такая жизнь "в себе" становится тем менее воинственной по отношению к внешнему миру, чем более она полна войнами, победами, поражениями и завоеваниями среди своих собственных порывов. В одиночестве своего духовного самоуглубления и саморазвития она ищет скорее оболочку, которая бы оберегала ее от громких и наносящих раны событий внешнего мира. И без того внутренний мир полон страданий и ран. К этому типу познающего человека относится описание Ницше: "вот человек, который постоянно испытывает необычайные вещи, видит, слышит, подозревает, надеется, мечтает; которого *его собственные мысли поражают и ранят, как нечто приходящее извне,* как своего рода события и удары" ("По ту сторону Добра и Зла").

Взаимная вражда порывов в душе его не уничтожена, а скорее напротив, усилилась. "И кто будет судить об основных влечениях человека по тому, действовали ли они как вдохновляющие духи, демоны или кобольды, тот найдет, что каждое из них хотело бы выставить именно себя конечной целью миро-здания, владыкою всех прочих влечений. Ибо каждое влечение властолюбиво и старается философствовать в своем духе" ("По ту сторону Добра и Зла").

Именно поэтому "познание познающего свидетельствует о нем самом", т. е. "о том, в каком отношении друг к другу стоят внутренние влечения его натуры" (там же).

Я помню одно устное изречение Ницше, которое очень верно характеризует эту радость человека, познающего ширину и глубину своей натуры, — радость, порожденную тем, что его

жизнь сделалась "экспериментом для познающего" ("Веселая наука"). "Я подобен старому, несокрушимому замку, в котором есть много скрытых погребов и подвалов; в самые скрытые из подземных ходов я еще сам не пробирался, в самые глубокие подземелья еще не спускался. Разве они не находятся под всем построенным? Разве из своей глубины я не могу подняться до земной поверхности во всех направлениях? Разве через всякий потайной ход мы не возвращаемся к самим себе?"

Таким образом, широта и сложность негармоничной, "лишенной стиля" натуры становятся громадным преимуществом: "если бы мы хотели и осмеливались создать архитектуру, соответствующую нашей душе, то нашим образцом был бы лабиринт!" ("Утренняя заря"), — не такой лабиринт, в котором душа теряет себя, но такой, из запутанности которого она находит путь к познанию. "Нужно носить еще в себе хаос, чтобы родить блуждающую звезду", — это изречение Заратустры относится к душе, которая родится для звездного существования, для света как для своей истинной сущности, для своего апофеоза.

* * *

Чтобы понять Ницше до конца, необходимо понять психологию религиозного чувства. Из всех дарований Ницше нет ни одного, которое бы глубже и неразрывнее было связано со всем его духовным существом, чем его религиозный гений. В другое время, в другой период культуры он помешал бы этому пасторскому сыну стать мыслителем. Но среди влияний нашей эпохи его религиозный гений обратился на познание. Все его развитие вышло в значительной степени из того, что он потерял веру, из "скорби о смерти божества", этой безграничной скорби, которая звучит вплоть до последнего произведения, написанного Ницше уже на грани безумия, — до четвертой части его "Так говорил Заратустра". Ведь если множество отдельных, не связанных между собой порывов распадается на две как бы противопоставленные одна другой сущности, из которых одна властвует, а другая покоряется ей, человек находит возможность относиться к себе как к высшему существу. Тем, что он принес в жертву самому себе часть себя, он приблизился к *религиозному экстазу*.

"В человеке соединяются тварь и творец: в человеке есть материя, недоделанность, избыток, прах, нечисть, бессмыслица, хаос; но есть в нем и создатель, художник, есть в нем твердость молота, божественность созерцателя, настроение седьмого дня…" ("По ту сторону Добра и Зла".) И здесь видно, как непрерывное страдание и бесконечное самообожествление обусловливают одно другое тем, что каждое создает сызнова свою собственную

противоположность. "Всякий, кто когда-нибудь строил новое небо, находил силу для этого лишь в *собственном аду"* ("К генеалогии морали").

В этих основных чертах натуры Ницше заключаются причины *утонченности и экзальтации,* присущих, как жгучая пряность, всему высокому и значительному в его философии. Сильнее всего это должен чувствовать неиспорченный вкус молодых и здоровых натур — или же люди, защищенные безмятежностью религиозных воззрений и не испытавшие на самих себе борьбы и страданий атеиста с религиозными влечениями. Но именно это и делает Ницше в столь сильной степени философом нашего времени. В нем выразилось типичным образом то, что глубже всего волнует современность: невозможность удовлетвориться крошками от трапезы современного познания и невозможность отказаться от своего отношения к познанию. Такова великая и потрясающая картина философии Ницше: целый ряд мощных попыток разрешить эту задачу современного трагизма, угадать тайну современного сфинкса и сбросить его в пропасть.

Именно поэтому, если мы хотим разобраться в произведениях Ницше, нам следует обратить внимание на человека, а не на теоретика. В теоретическом отношении он часто опирается на других мыслителей, но то, в чем они достигли своей зрелости, своей творческой вершины, служит ему исходным пунктом для собственного творчества. Малейшее прикосновение, которое испытывал его разум, будило в нем полноту внутренней жизни. Он сказал однажды: "бывают два типа гениев: один, который творит и хочет творить, другой, который дает себя оплодотворять и рождает" ("По ту сторону Добра и Зла"). Он несомненно принадлежал ко второму типу. В духовной натуре Ницше было — доведенное до величия — нечто женственное; но при этом он настолько гениален, что совершенно безразлично, что давало ему первотолчок. Если мы соберем все, что было посеяно в его уме прежними учениями, у нас окажется лишь горстка незначительных зерен; когда же мы вступаем в его философию, нас осеняет лес тенистых деревьев, роскошная растительность дикой, безграничной природы.

Лу Саломе.
ОПЫТ ДРУЖБЫ

Однажды вечером в марте 1882 года в Риме несколько друзей собрались в доме Мальвиды фон Мейзенбух. Неожиданно раздался еще один звонок. В комнате появилась управляющая и шепнула на ухо хозяйке некую потрясающую новость, после чего Мальвида поспешила к секретеру и, достав деньги, вы-шла. Когда, смеясь, она вернулась, прозрачная косыночка из черного шелка от волнения соскользнула с ее головы. Вместе с Мальвидой в комнату вошел молодой Пауль Рэ, ее давнишний друг, которого она любила как сына. Он примчался из Монте-Карло, чтобы вернуть долг человеку, ссудившему ему деньги, когда Пауль проиграл буквально все до последнего су.

Меня слегка взволновало начало наших отношений, в чем-то забавное и неожиданное: завязались они почти мгновенно — возможно потому, что Пауль Рэ, над которым парил некий ореол неординарных событий, разом затмил все происходившее до него. Его выразительный профиль, умные глаза показались мне близкими, в них явно читались раскаяние, юмор и доброта.

В тот вечер наша страстная, взахлеб, беседа закончилась глубоко за полночь. После многочисленных уловок задержаться — и так продолжалось потом все вечера — мы покинули Ла Виа делла Полверьерра и отправились в пансион, где я жила с мамой. Эти прогулки по улицам Рима, освещенным луной и звездами, сблизили нас настолько, что я, не мешкая, принялась разрабатывать изумительный план на будущее, который способствовал бы продолжению наших отношений вопреки намерению матери вернуть меня в Санкт-Петербург.

Однако Пауль Рэ, увы, совершил грубейшую ошибку: он заговорил с моей матерью о нашем браке, и в итоге мне стоило немалого труда склонить его к принятию именно моего плана. Я убедила его в том, что замкнутость моей личной жизни и моя необузданная потребность в свободе диктуют мне совершенно иные задачи.

Сознаюсь честно: я была совершенно убеждена в том, что мой план — настоящее оскорбление общепринятых норм, и тем не менее план этот был осуществлен, хотя сначала я увидела все это во сне. Мне приснился замечательный рабочий кабинет с книгами и цветами, где проходили наши беседы, рядом — две спальни, а в зале — веселый и одновременно серьезный круг друзей-

единомышленников.

Нельзя отрицать, что пять лет, или почти пять лет нашей совместной жизни поразительно похожи на этот сон. Пауль Рэ сказал однажды, что разница была лишь в том, что наяву я не проводила различия между книгами и цветами: я брала внушительные университетские тома, чтобы подкладывать их под горшки с цветами; занимаясь таким дизайном, я приводила окружающих в замешательство. Наконец, когда я еще боролась с мамой, не терявшей надежду вернуть меня домой живой или мертвой, Мальвида, к моему великому изумлению, обнаружила еще больше предрассудков, коренившихся в непоколебимости религиозных принципов и благородных традиций высшего общества. Я с удивлением открыла для себя, до какой степени идеал свободы может подавлять реальную свободу личности: чтобы служить ее пропаганде, этот идеал старается тщательно избежать любого недоразумения, предпочитая любую "фальшивую видимость". Отвечая на письмо своего наставника, который тоже, как мне казалось, не был расположен меня понять, я написала из Рима о своем несчастье и разочаровании. Вот это письмо в Санкт-Петербург:

Рим 26/13 марта 1882 года

Перечитав Ваше письмо по крайней мере раз пять, я его так и не поняла. Что я сделала не так? А я-то думала, Вы похвалите меня, я готова доказать, что хорошо усвоила урок, который получила благодаря Вам. Во-первых потому, что я абсолютно не строю замков и действительно сделаю то, о чем говорю, во-вторых потому, что я реализую это с людьми, которых Вы знаете, — умными и ответственными. Но Вы убеждаете меня в обратном, что, мол, моя идея — бредовая и что пытаться воплотить ее в жизнь — значит только все усложнить; наконец, что я неспособна правильно понимать великих людей старше меня, таких как Рэ, Ницше и других. Но в этом-то и заключается Ваша ошибка. Главное — (а для меня главное в человеческом отношении — это Рэ и ТОЛЬКО ОН) — мне очень хорошо известно.

Рэ еще не совсем мой единомышленник, он еще растерян, но во время наших бдений до двух часов ночи под лунным светом Рима, вне общества Мальвиды фон Мейзенбух, мои объяснения приобретали для него смысл. Мальвида тоже против нашего плана, и это меня огорчает, потому что я сильно люблю ее. Но я давно заметила: наши мысли, по сути, всегда разные, даже когда мы в целом согласны. У нее привычка говорить, что "мы" не имеем права делать "это" или "то". Я же совершенно не знаю, что есть на самом деле это "мы" — какая-то идеальная партия или философская категория? Что касается меня, я даже не знаю, что

есть "я". Я не могу соотнести свою жизнь с общепринятыми моделями и никогда не смогу создать некую модель, но взамен этого я буду управлять своей жизнью по правилу: будь что будет. Поступая так, я защищаю не какой-то принцип, а нечто высшее, что присутствует в нас, идущее от жизни, что ликует и бьет ключом. Вы пишете также, что никогда не видели, чтобы я себе ставила интеллектуальные цели большие, нежели просто "переходная ступень". Но что вы вкладываете в понятие "переходная ступень"? Если нечто, за чем следуют потом другие цели, ради которых нужно отказаться от того, что является самым замечательным, что труднее всего заполучить на земле, а именно — от свободы, в таком случае я хочу всегда оставаться на стадии "переходной ступени", потому что свободу-то я и не принесу в жертву.

Определенно нельзя быть такой счастливой, как я сейчас, а "война", которая меня, конечно, ждет, совсем меня не пугает, напротив, пусть она будет! И мы увидим, не превратится ли большинство препятствий, называемых "непреодолимыми" в этом мире, в ничего не значащие линии, начертанные мелом.

Но что могло бы меня действительно испугать, так это то, что Вы не сочувствуете мне. Вы себе же противоречите, написав, что все советы, без сомнения, не могут что-либо изменить в этой ситуации. Ваши "советы" — нет! Мне нужно от вас гораздо больше, чем советы: Ваше доверие. Не в обычном смысле, конечно, нет, — мне нужно, чтобы Вы поверили в то, что я могу сделать. И порукой тому — все, что мне принадлежит — моя голова, мои руки — все то, чем, благодаря Вам, я стала.

Ваша маленькая девочка.

Тем временем в Риме произошло событие, которое "подлило воды на нашу мельницу", — приезд Фридриха Ницше. Случилось неожиданное: едва только узнав о нашем плане, Ницше предложил себя в качестве третьего лица нашего союза.

Местопребывание нашей будущей троицы было вскоре определено: вначале мы думали о Вене, затем о Париже, где Ницше хотел посещать какие-то лекции и где Пауль Рэ и я познакомились с Иваном Тургеневым (у него эта встреча произошла давно, у меня — вскоре после отъезда из Санкт-Петербурга). Ницше пребывал в игривом настроении, и часто ничего нельзя было понять из его высокопарно-закамуфлированной манеры выражаться. Я помню его торжественный вид в день нашей первой встречи, которая произошла в церкви Св. Петра. Первые сло-ва Ницше, обращенные к нам, были: "Какие звезды свели нас вместе?"

Но то, что так хорошо начиналось, приняло неожиданный

оборот, втянув нас с Паулем в новые перипетии, ибо вновь прибывший усложнил ситуацию непредвиденным образом. Разумеется, Ницше думал, наоборот, упростить ситуацию: он сделал Рэ своим посредником по части брака со мной. Удрученные, мы искали средство уладить все, чтобы не подвергать угрозе интересы нашей троицы. Мы решили объяснить Ницше, что, во-первых, я испытываю глубокое отвращение к браку вообще, во-вторых, что я живу на одну пенсию, которую моя мать получает как вдова генерала, и, наконец, что брак лишил бы меня скромной ренты, которая мне полагалась как единственной наследнице русского дворянского рода.

Когда мы покинули Рим, дело, казалось, было улажено. За последнее время у Ницше случилось несколько приступов сильной головной боли. Пауль остался возле него. Моя мать рассудила, что разумнее было бы меня увезти. Уже позднее мы жили втроем в Орта, на берегу озер Северной Италии, где вершина Монте Сакро буквально околдовала нас. Тогда же Ницше заставил нас сфотографироваться втроем, несмотря на сопротивление Пауля, который всю жизнь испытывал болезненное отвращение, глядя на свои фотографии. В веселом расположении духа Ницше не только настоял на своем желании, но и занялся этим лично, с усердием следя за всеми нюансами, которые должны были быть изображены — к примеру, маленькая (даже слишком) тележка, претенциозная деталь — ветка сирени, за-крепленная на хлысте, и т. п.

Поначалу между Ницше и мною были разногласия, вызванные всякого рода россказнями, смысла и источника которых я так и не уяснила до сих пор. Мы вскоре от них избавились ради спокойного совместного существования. Тогда я смогла проникнуть глубже во внутренний мир Ницше. Что касается его произведений, то я не знала ничего, кроме "Веселой науки", ко-торую он как раз заканчивал и последние части которой мы прочитали уже в Риме. Встречаясь, Ницше и Рэ обнаруживали явное сходство мыслей. Пауль всегда предпочитал афоризмы — форма выражения, которую Ницше вынужден был избрать в силу своего образа жизни. Пауль Рэ вечно разгуливал с Ларошфуко или с Лабрюйером в кармане, и его мысль мало изменилась со времени его первой рукописи "Кое-что о тщеславии". В Ницше, напротив, чувствовалось, что он не собирается останавливаться на сборниках своих афоризмов и со временем перейдет к "Заратустре"; чувствовалось некое скрытое движение: он эволюционировал к религиозному пророчеству.

В одном из писем, которые я написала Паулю, можно прочесть (сегодня я бы подчеркнула это высказывание дважды):

"Мы увидим его появление как проповедника новой религии, и это будет религия, которая потребует преданных последователей. Мы с ним думаем и чувствуем в этой сфере одно и то же, мы произносим абсолютно одни и те же слова и выражаем одинаковые мысли. За эти три последние недели мы буквально истощены дискуссиями, и, что удивительно, он переносит сейчас беседы почти по десять часов кряду". Странно, но наши беседы вели нас в некие пропасти, в дебри, куда забираются однажды поодиночке, чтобы почувствовать глубину. На прогулках мы выбирали нехоженые тропинки, и если нас слышали, то думали, наверно, что это беседуют два дьявола.

Неизбежное очарование, которое оказывали на меня характер и слова Ницше, преодолеть было невозможно. И все же я не стала его ученицей и преемником: я всегда колебалась вступить на путь, с которого мне все равно пришлось бы сойти, чтобы сохранить ясность мысли. Была тесная связь между предметом обожествления у Ницше и моим отступничеством…

После перерыва мы вновь встретились с Ницше в октябре, в Лейпциге, на три недели. Никто из нас двоих не сомневался в том, что эта встреча была последней. Все было иначе, не так как прежде, хотя мы по-прежнему хотели жить втроем. Когда я спрашиваю себя, что привнесло наиболее негативный оттенок в мое мнение о Ницше, я отвечаю: его многочисленные намеки, призванные очернить Пауля Рэ в моих глазах, — и я удивляюсь, что он верил в эффективность этого средства. Вскоре свою враждебность он перенес на меня, и выразилось это в форме злобных упреков, с которыми я познакомилась только из черновиков его писем. То, что произошло потом, кажется настолько противоестественным для характера и жизненной позиции Ницше, что объяснить это можно только вмешательством постороннего лица. Он начал питать в отношении Рэ и меня подозрения, которые сам же первым и опроверг, настолько они были необ-основанны. Пауль Рэ как мог старался уберечь меня от всякого рода недоразумений и оскорбительных намеков. Похоже, что некоторые письма Ницше, адресованные мне и полные необ — основанных обвинений, до меня так и не дошли. Более того, Пауль Рэ скрыл от меня также и то, что происки были связаны с неприязненным отношением его семьи ко мне.

Ницше, без сомнения, сам был недоволен слухами, которые заставили его ретироваться. Так, наш друг Генрих фон Штейн рассказал нам, что в Сильс-Мария, куда он приехал однажды к Ницше, он пытался убедить того, что можно рассеять недоразумения между нами троими, но Ницше ответил, качая головой: "То, что я сделал, не подлежит прощению".

* * *

Между тем Пауль Рэ и я устроились в Берлине. Общность, о которой я мечтала, реализовалась в кружке молодых литераторов, в большинстве своем преподавателей университета; задачи и состав этого кружка менялись с годами. Пауль получил там прозвище "благородной девицы", а я — "его превосходительства" (как было записано в моем паспорте — по русскому обычаю я унаследовала титул отца в качестве его единственной дочери). Даже летом, покидая Берлин на университетские каникулы, мы никогда не оставались одни: несколько друзей всегда присоединялись к нам. (Помню одно особенно счастливое лето в Верхнем Энгадине, где мы все жили у мельника.)

Денег на жизнь у нас хватало: у меня было 250 марок в месяц, благодаря пенсии матери, а Пауль, проявляя трогательное внимание, клал ту же сумму в наш общий кошелек. Мы учились тратить экономно: это было забавно и принесло мне расположение брата Пауля, Георга, который заведовал наследствами их обоих. Пауль, став скромнее в своих потребностях, больше не докучал ему в отношении денег.

Следуя мудрому совету Рэ (этой "благородной девицы" в мужском облике, гораздо более рассудительной, чем любая женщина), мы посещали в Берлине только наш собственный кружок да еще порой и другие кружки подобного типа, — ни благородных семейств, ни тогдашнюю богему, тем более что "художественная литература" встречала в моем лице самый отпетый образец невежества.

В то время я написала свою "первую книгу", но поскольку от меня потребовали не вмешивать в эту публикацию фамилию семьи, я взяла в качестве псевдонима имя моей голландской подруги. Забавно, что эта книга — Генри Лу, "В поисках Бога" — была лучше принята критикой, чем любое из моих будущих произведений. Она родилась из моих петербургских заметок, а так как этого было мало, — еще из написанной мною когда-то новеллы в стихах, которую я переложила на прозу.

Среди людей, которые нас окружали, были представители разных научных областей: естествоиспытатели, востоковеды, историки и множество философов. Философия ставила тогда перед собой задачу беспокоить и стимулировать умы, причиной чему была особая ментальная атмосфера того времени. Внушительные после-кантовские системы, вплоть до неогегельянства во всех его разновидностях, не ушли от решительного столкновения с противоположной духовной тенденцией XIX столетия, названного "эрой Дарвина". Среди тех, кто защищал позитивистские принципы объективности и

реализма, появились пессимистические настроения: это представляло собой еще очень идеалистическую реакцию на все виды практик "разбожест-вления". Однако за любовь к "истине" приносились настоящие жертвы. В этом состоял героизм того времени для людей, интересовавшихся философией. После смирения перед "истиной" открылась целая эра "конфессий смирения": устанавливая положение человека как можно ниже, испытывали особое чувство мазохистской гордости.

Даже в нашем кружке, который то уменьшался, то ширился, не сознавали еще, что человек, сборники афоризмов которого внесли свежую струю в психологию, — Фридрих Ницше — приобретет всемирную славу. Однако как покров вуали, невидимый, он был среди нас. Не соединял ли он в действительности эти ростки возбужденных умов? Не по причине ли конфликтов его души и психических расстройств, которые побуждали его полностью отдаваться своему поиску, его поэтический дар и сила проницательности объединились столь продуктивным образом?

Однако что еще определило столь глубокий след, оставленный Ницше в интеллектуальной жизни того (и последующего) времени, — так это тот контраст, который он являл по сравнению с нашими друзьями. Ибо несмотря на различия позиций каждого по отношению к основным вопросам, все были согласны в одном: они все искусственно повышали стоимость "объективности" этих вопросов. Они старались изо всех сил отделить свои эмоции от желания познания, разъединить их как можно глубже и рассматривать все "личное" как несовместимое с "научным подходом".

Напротив, состояние души и личная трагедия Ницше стали тем тигелем, где его жажда познания приняла наконец форму: из огня возникло "цельное творение — Ницше". Я была не единственной, кто ощущал контраст между Ницше и нами как особенность, открывшую ему самые большие кредиты в сердце нашей группы. Вообще надо сказать, что в ней царил здоровый и свободный климат, к которому я всегда стремилась и который способствовал тому, что Пауль Рэ оставался моим духовным другом, даже когда он трудился над "Генезисом Сознания", окрашенным несколько ограниченным уллитаризмом, так что я чувствовала себя в своей интеллектуальной работе ближе к некоторым другим членам нашей группы, чем к нему (я имею в виду Фердинанда Тенниса и Германа Эббингауса).

То, что нас с Паулем Рэ притянуло друг к другу, не ограничивалось мимолетным, а обещало вечную дружбу. И если мы верили в эту возможность, то только потому, что Рэ обладал

абсолютно уникальным среди тысяч людей даром товарищества. Я была молодой девушкой, глупой и неопытной, и многие вещи, которые мне казались тогда совершенно естественными, были в действительности настоящей редкостью: в частности, его неизменная доброта. Я не догадывалась вначале, насколько основательно базировалась она на тайном чувстве неприязни к самому себе: его полная преданность по отношению к кому-то иному, чем он сам, являлась замечательным способом забыть себя и освободиться от себя. Действительно, меланхоличный и пессимистичный Пауль Рэ, помышлявший в моло-дости о самоубийстве, стал человеком веселым и замечательно открытым. Он обладал недюжинным чувством юмора, и даже толика пессимизма, остававшаяся в нем, проявляла себя продуктивным образом: в то время как другие испытывают раздражение перед разочарованиями, которые вечно приносит с собой повседневность, он развил способность замечать лишь то, что счастливо обманывало его пессимистические ожидания. Таким образом, его скрытная невротическая натура оставалась для меня во многом тайной, хотя он часто оплакивал себя в открытую, будучи огорченным всеми своими возможными и невозможными недостатками: только однажды, позднее, увидев Пауля во власти прежней страсти к игре, я сопоставила его с тем игроком, каким я узнала его в Риме в первый вечер, и мне открылись другие черты его характера так, как я их вижу и понимаю сегодня. И сейчас еще я испытываю глубокое сожаление при мысли, что он мог бы найти спасение, если бы психоанализ Фрейда появился на несколько десятилетий раньше. Ибо он не только вернул бы его к себе, но и позволил бы достигнуть полной интеллектуальной зрелости.

Казалось бы, моя предстоящая помолвка никак не могла помешать тем узам, которые нас скрепляли. Мой муж одобрил это положение вещей как что-то абсолютно неизменное. Пауль же делал вид, что верит в то, что моя семейная жизнь ничего не изменит. Чего ему не хватало на самом деле, так это веры, что его действительно могут любить, хотя сама реальность доказывала обратное. И несмотря на откровенность, с которой мы объяснились по поводу этого наедине (он решил не встречаться с моим мужем, не разговаривать с ним, по крайней мере, некоторое время), стена между ним и Андреасом продолжала существовать. В то время мы уже жили отдельно, потому что Пауль Рэ начал свои занятия медициной и должен был анатомировать по утрам.

Вечер нашего расставания вписался огненными буквами в мою память. Он ушел очень поздно, но вернулся через несколько минут, т. к. был сильный дождь. Через некоторое время он снова ушел, но тут же вернулся за книгой. Когда он ушел совсем,

рассветало. Я выглянула в окно и была сильно удивлена: улица оказалась сухой, а безоблачное небо еще пестрело бледнеющими звездами. Отвернувшись от окна, я заметила в свете лампы свою детскую фотографию, которую когда-то взял Пауль. Она выглядывала из сложенной записочки, где я прочла: "Сжалься! Не ищи!"

Было естественно, что уход Пауля Рэ стал благодеянием для моего мужа, хотя тому достало деликатности не говорить мне об этом. И так же естественно, что, несмотря на проходящие годы, печаль продолжала давить на меня: я знала, что что-то уже никогда не произойдет. Когда я просыпалась по утрам с чувством угнетенности, только новый сон мог его подавить. Вот один из самых тревожных: я вместе со своими друзьями, которые сообщают мне радостно, что с ними Пауль Рэ. Я смотрю на них и не нахожу его, иду в прихожую, где висят наши пальто. Мой взгляд падает на огромного толстого незнакомца, который спокойно сидит, скрестив руки, за вешалкой. Избыток жира, который делает его лицо трудноузнаваемыми и заслоняет ему глаза, покрывает его лицо, как погребальная маска из плоти. Он произносит с удовлетворенным видом: "Не правда ли, вот таким меня никто не найдет?"

Пауль Рэ завершил свои занятия медициной и удалился в Селерину в Верхнем Энгадине, где он применил свои способности врача, бесплатно леча бедных.

Он разбился насмерть, сорвавшись с горы в окрестностях Селерины.

Лу Саломе.
С РАЙНЕРОМ

Без сомнения, в любом процессе творчества, если посмотреть вглубь вещей, есть доля опасности, доля соперничества с жизнью. Для Райнера эта опасность была тем более очевидна, что сама его природа побуждала его поэтически переосмысливать то, что почти невозможно выразить словами. Именно поэтому, разворачиваясь с годами, его жизнь с одной стороны, и творческая гениальность с другой, уже не стимулировали друг друга, а развивались вопреки друг другу, порождая конфликт между требованиями, которые он предъявлял к своему искусству, и стремлением обрести полноту жизни по мере того, как его творчество воплощалось в книгу невероятно и исключительно правдивую.

Потребовались годы, прежде чем его талант проявил себя во всей полноте. То, что должно было со временем стать "книгой", накапливалось, приобретая глубину и ясность, но недели и месяцы между вспышками воодушевления сводились к простому ожиданию, от которого страдал его разум. В это время я начала бороться за Райнера: мне казалось, что любая работа, самая заурядная деятельность были бы для него лучше, чем опустошающее ожидание, когда он то и делал, что осыпал себя напрасными упреками (впрочем, эта потребность в самобичевании сама по себе приводила его в отчаяние). Кончилось тем, что мы назвали в шутку эти метания "решением стать бродячим почтальоном". Мы годами притворялись наигранно беззаботными, поскольку тот неумолимый рок Райнера, что прорывался ино-гда наружу в виде отчаяния или болезни, все же приносил с собой восхитительные моменты, которые, увы, облекались в несбыточную мечту.

Всюду мы появлялись вместе, две наши судьбы давно уже тесно переплелись, и все у нас было общим. Райнер полностью разделил ту скромную жизнь, которую мы вели на опушке леса в Шмаргендорфе, недалеко от Берлина; за несколько минут по лесу можно было выйти в сторону Паульсборна, и когда мы гуляли босиком, как приучил нас мой муж, к нам подходили ручные косули и обнюхивали наши карманы и подолы пальто.

В нашем небольшом доме кроме кухни и библиотеки мужа была еще только одна комната, служившая салоном, и Райнер частенько сиживал со мной на кухне и наблюдал за моей стряпней, особенно когда готовились его любимые блюда —

русская каша или борщ; в нем почти ничего не осталось от того балованного дитяти, который некогда рыдал при малейших лишениях и жаловался на скудное жалование. В своей неизменной косоворотке с красной застежкой на плече он помогал мне колоть дрова или вытирать посуду, не отрываясь от разговора о наших "штудиях". Хотя эти "штудии" и касались множества вещей, предметом истинной его страсти — для него, с головой ушедшего в русскую литературу, — были русский язык и культура, в особенности после того, как мы всерьез решили посетить эту страну. В конце концов в 1899 году на Пасху мы втроем поехали в Санкт-Петербург к моим родным, а затем в Москву; через год мы с Райнером проехали по российской глубинке.

Несмотря на то что в первый наш приезд мы так и не побывали в Туле у Толстого, именно благодаря его образам для нас открылись двери России. Хотя уже Достоевский показал Райнеру всю глубину русской души, Толстой стал в его глазах наивысшим воплощением русского человека — благодаря поэтической мощи, пронизывающей все его описания. Наша вторая встреча с Толстым в мае 1900 года, состоялась уже не в его зимнем доме в Москве, как в первый раз, а в его поместье Ясная Поляна, что в семнадцати верстах от Тулы. Конечно же, понять его душу во всей полноте можно было только в деревне, а не в городе, в рабочем кабинете, даже если этот кабинет своим деревенским стилем явно контрастировал с остальной обстановкой в особняке графа. В своем же поместье хозяин как бы открывался нам заново, когда он спокойно латал рубаху или что-то мастерил, или сидел за фамильным столом перед тарелкой каши и щей, весьма контрастировавшими с изысканной пищей остальных домочадцев.

Самым сильным, самым ярким для нас впечатлением стало событие, которое произошло во время небольшой прогулки втроем. Толстой спросил у Райнера: "Чем вы занимаетесь?" — и когда тот ответил: "Пишу стихи", обрушил на него целый водопад резкостей, развенчивающих любую поэзию, — но у ворот фермы наше внимание было полностью отвлечено от этой гневной филиппики завораживающим спектаклем. Пришедший издалека странник, почти старик, подошел к нам. Он не попросил милостыни, он просто пришел поприветствовать писателя, наверное, так, как все те, кто с той же целью отправляется в паломничество: посетить храмы и святые места.

Тем летом луга были сплошь усеяны невиданными по высоте и красоте цветами, каких не сыщешь нигде, кроме России; даже под сенью леса болотистые места были укрыты невероятно

высокими незабудками. Воспоминания об этих цветах навсегда запали в мою память и ассоциировались с ярким образом Толстого — как он, внезапно прерывая оживленную и поучительную беседу, резко наклонялся и хватал рукой, словно ловил бабочку, пучок незабудок, яростно прижимал их к горящему лицу, словно хотел вобрать их в себя, а потом небрежно бросал на землю. Издалека к нам долетали почтительные приветствия крестьян — казалось, на все лады они говорили: "Как я рад, что мне довелось видеть тебя". И я тоже произнесла эти слова благодарности и признательности, вложив в них все те чувства, которые мы испытывали: "Как мы рады, что нам довелось увидеть вас!"

Может, именно этот момент отчасти и поспособствовал странной прихоти Райнера, желавшего видеть теперь в любом мало-мальски характерном мужике возможность союза простоты и глубины. И он был не так уж неправ, как, к примеру, в Третьяковской галерее в Москве, куда мы пошли в сопровождении нескольких мужиков. Перед большим полотном "Коровы на лугу" один из них недовольно произнес: "Коровы! Невидаль какая! Нам-то какое дело?" Другой с хитрым видом перебил его: "Они нарисованы, потому что тебе есть до них дело. Потому что ты должен их любить, так-то. Для этого они и нарисованы. Ты должен их любить, хотя тебе с того никакого толку. Так-то вот". И сам поразившись собственному объяснению, мужичок повернулся, вопросительно глядя, к Райнеру, стоявшему с ним рядом. Вне себя от радости Райнер энергично воскликнул на своем плохом русском: "Ты знаешь это!"

И наконец мы прибыли туда, где у Райнера не могло не сложиться более властного и устойчивого впечатления от встречи с Россией: он нашел "родину своей души" в пейзажах Волги, в ее людях, в ее свободном потоке с юга на север, там, где мы устроили свое временное пристанище после посещения Ярославля. Здесь судьба предоставила нам случай по-настоящему во-брать в себя запах русской избы. Молодая пара, построившая эту избу, уже почерневшую от дыма и непогоды, сдала нам угол. Круглая скамья, самовар, на земле — большой мешок сена, рядом у пустого стола — еще одна копна, принадлежавшая соседке-крестьянке: нас веселили даже такие мелочи, что наш стог был больше…

Стоило ли нам покидать борт корабля? Воспринимали ли эти крестьяне нас как своих гостей? Во всяком случае, знаменитый крестьянский поэт Дрожжин был нашим гостем в этом доме. Не были ли эти мгновения целыми книгами, наполненными впечатлениями, пробуждавшими в нас постоянный интерес? Не

так ли мы сами провели многие годы? Было ли это на самом деле днем, неделей, от силы месяцем? Все это сконцен-трировалось в образе одного-единственного часа, одной-единственной избы. Мы жили тем, что жило здесь: мы встречали утро на пороге, сидели перед самоваром, спокойно дымящимся на земле, и весело разглядывали кур, выходивших из соседних изб; самые любопытные из них переминались с ноги на ногу, будто хотели предложить нам по яйцу к чаю.

"Остановка-изба" как бы символизировала собой часть того, чем стала для Райнера Россия и что явилось для него предвестием России. Эта изба, с искусно резьбленой крышей, символизировала место и время обретения им нового дыхания — того самого, в котором мы так нуждались и которого, увы, не было до начала нашего путешествия. Здесь жил народ, привыкший к страданию и нищете, народ, чья глубокая натура сочетает в себе смирение и веру. Райнер как бы вживался в глубь этого народа, в его историю, в его внутреннюю готовность принять все происходящее. Предопределенность своей судьбы народ называет "Богом": это не власть, со своей высоты прощающая грехи, а лишь присутствие невидимой защиты, которая не допустит последнего уничтожения — русский бог Лескова, который "живет в левой подмышке". И хотя Райнер не принял этого бога, все же в русской истории и теологии он нашел горнило, где растворились самые глубокие внутренние тревоги и усилия, крик отчаяния и хвалебный лепет. Вначале было слово — была молитва.

Не стоит вводить себя в заблуждение видимостью противоречий в различных главах "Часослова", где речь идет об одном и том же боге, которого Райнер позаимствовал у русских: в особенности это касается соотношения божественной веры и божественной защиты, парадоксально сосуществующих в человеке, который верует, создает бога и в тот же самый момент является тем, кто обязан брать бога под защиту.

Ты выпал из гнезда,
крохотный птенчик на крохотных лапках,
и меня молят о помощи твои глаза.
(Моя рука для тебя велика.)
С моего пальца капает капля воды,
я жду, когда ты утолишь свою жажду,
я слышу, как бьются наши сердца
от тоски, которой не будет конца.

И сразу после:

Мы возведем тебя дрожащими руками,
атом за атомом, камень за камнем,
но кому под силу достроить тебя,
о великий собор?

Во всем этом еще нет внутреннего противоречия, этот пыл набожности не имеет границ, и нет такой стихотворной строчки, где бы этот пыл не прорывался наружу, позволяя божественной силе войти в нее, подобно неуловимой первооснове, несущей гармонию.

Бесспорно, что именно этот пыл и молитва формируют все то, что живет в нас, образуя мир чувственных образов сознания: то, что благодаря им превращается в глубочайшую сосредоточенность, собранность; то, что связывает в некий клубок все проявления восторга (пусть даже их вызывают далекие от предмета разговора вещи, например, секс или общественное положение). Ибо что является даже для верующего существа основой понятия "Бог"? Прикосновение того, что мы еще способны принять верой, но что уже ускользает от доводов нашего разума и уже не кажется нам частицей нас, пусть даже мы пытаемся вернуть это в нас снова, точно так же, как охотно уступаем соблазну дать этому имя, поместить его в самом сокровенном уголке собственной сущности.

Но молитва, как производная пережитого религиозного экстаза, предполагает сама по себе существование в нас на грани выносимости внутренней скорби, внутреннего ликования, уязвимости и благоговения. И когда на этой высоте молитва становится поэзией, непроизвольным актом творчества, брызжущей через край силой экспрессии, в самой глубине души человека происходит нечто парадоксальное: причина и следствие меняются местами. Это значит, что словесная формула, которая всегда вторична, перестает соответствовать пережитому опыту и преобразует содержащиеся в ней чувства облегчения и освобождения — во вдохновение и цель, которые уже не служат друг другу.

Эта склонность Райнера поразительно ярко проявилась с самого начала работы над "Часословом" во время первого путешествия в Россию, но истинная проблема со всей определенностью встала только во время нашего второго приезда, во время наших странствий и встреч — тогда-то Райнер и смог беспрепятственно уйти с головой в свои впечатления о "его" России. Впоследствии он горько сожалел, что глубина этих впечатлений почти не оттенялась огромным количеством молитв,

но это оттого, что он их переживал: молитва и ее словесное воплощение наслаивались друг на друга как единственная неразделимая реальность, что обрела законченную форму; и то, что начало исчезать — частично или полностью — на уровне художественного произведения, с небывалой силой проявлялось в самом Райнере, в том невероятном зрелище, которое в определенные моменты разворачивал перед нами его внутренний мир. И тем не менее он постоянно замыкался в ожидании и тревожных поисках наивысших форм выразительности, которая смогла бы подчеркнуть изреченное слово, придав ему самодостаточность. Он буквально разрывался между нетерпеливым желанием, незримо присутствующим в его словах, его символах, — желанием упасть на колени перед каждым из своих ощущений, чтобы излить себя в поэтических формулах, — и желанием противоположным — не впустить в молитвенную тишину своей души творческий порыв. А стало быть он часто оказывался в неизменном положении узника тюрьмы безмолвного внимания и од-новременно в положении пассажира, сидящего у окна скорого поезда, проносящегося без остановок мимо городов, деревень, пейзажей и картин, к которым он никогда не сможет вернуться. Спустя годы он станет говорить как о чем-то непоправимом о провалах в памяти, оставленных временем, сравнивая их с тем, что случается с воспоминаниями о раннем детстве, и читать стихи своим низким, спокойным голосом:

Пусть он заново познает свое детство,
несмышленое и полное чудес,
и бесконечно мрачные легенды
тех первых лет, полных обещаний.

С этим было связано тайное желание "вернуть свое детство", страстное желание видеть, как оно всплывает в памяти, подобно видению, хотя поток этих воспоминаний и заставлял его пятиться в ужасе. Но стоило только преодолеть эту дрожь, предваряющую всякое движение вглубь, — и вот перед ним его раннее детство, пронизанное тем изначальным чувством без-опасности, которое не нуждается ни в каких страховках и гарантиях. Именно это ощущение, и только оно, вызвало тот заряд свободы в книге, которую ему предстояло написать.

Я верю во все то, что еще не сказано.
Я хочу выпустить на волю свои самые
благие вспышки.
Однажды я, сам того не желая, сделаю то,

чего еще никто не дерзнул желать.
И да простит меня Бог, если это высокомерие
.....
И если это гордость, дай мне быть гордым,
произнося молитву.

Даже если всякий творческий процесс порождает дух соперничества между человеком и творцом в человеке — пусть даже мы знаем, сколько в нем от первого и сколько от второго, — Райнер считал, что предметом его искусства был Бог сам по себе, Бог, подающий знаки о своем отношении к тайникам его жизни, ко всему самому безымянному, лежащему по ту сторону осознания своего "я". Его миссия — художника, творца — проникнуть невыносимо глубоко, затронуть все самое человечное, всю слабость, туда, где эта миссия может потерпеть фиаско, где спрятано то, чья суть совпадает с Объектом его творчества.

Так мы можем понять отчаянье Райнера как его фатальную черту: не как простое беспокойство ранимой души из-за потерь и утрат, сопровождающих любую жизнь, не как тоску всех мало-мальски артистических натур из-за временного угасания их творческой силы, которой невозможно приказать, а как **абсолютное** отчаяние существа, поглощенного бездной, в которой также исчезло то, что, не будучи частью нас, руководит нами и всем остальным.

Учитывая это, становится понятным, какой удачей для Райнера было знакомство с Роденом, творцом, подарившим ему реальность такой, какая она есть на самом деле, не искаженную сентиментальностью сюжета; он научил его, пользуясь моделью, совмещать многогранность творчества с многогранностью жизни, единые заповедь и закон которой — "работать не покладая рук" — побуждали его создавать вещи не от душевной тоски, от которой он искал убежища, а восторженно созерцая свою "modele" (отображаемый предмет). И пока Райнер приучался работать, посвящая себя конкретным занятиям, оставляя в стороне свои сиюминутные настроения, его обыденная жизнь, размеренная и загруженная занятиями и работой над книгой, постепенно подчинялась единой и верховной власти искусства. Уже давно он, полный надежды, рвался к этой цели — еще со времен кружка художников в Ворпсведе, когда Клара Вестхофф, ученица Родена, вышедшая вскоре за Рильке замуж, показала Райнеру работы учителя. Вне всякого сомнения, после переезда в Париж его душевная тоска дошла до высшей точки, пока не исполнились его горячие мольбы навсегда поселиться у Родена, полностью ему

принадлежать, быть, по крайней мере для видимости, его личным секретарем, маскируя отношения близких друзей, которым оба отдавались беззаветно: ведь Роден был первым, кто подарил ему мир вещей как единое целое.

И не только мир вещей: господство над фантомами, рожденными из его кошмаров, надо всем самым ужасным, отвратительным и дьявольским, что возникало в его бредовых видениях. Если раньше его обостренная и патогенная восприимчивость изнемогала под тяжестью внутренней тоски, то теперь, как художник, он, погружаясь в тоску, дистанцировался от нее, причем таким образом, что его все возрастающий талант даже позволил ему осуществить посредством нее прорыв к свободе, пусть даже через произведение, лишенное этой тоски. Как все-таки вышло, что он смог постичь это только благодаря руке и дисциплине Родена? Исключительно потому, — и не стоит об этом забывать, — что для того, чтобы преодолеть внутреннюю нерешительность перед созерцаемым предметом из реальной жизни, Райнеру требовалось огромное усилие духа, заключавшееся в полном сосредоточении на этом предмете и абстрагировании от самого себя. Пусть подавленное, но подспудно, так сказать, неуловимо существующее чувство уже, может быть, сто раз отомстило бы, так или иначе деформируя реальность, и вырвалось бы на свободу, захлестнув его своей негативной волной, как в старые времена. Но как только ему удалось подойти к этому творчески, он открыл для себя двери новой сферы удовольствия. Это состояние удовольствия, начинавшееся с его первых успехов, осталось осознанным только наполовину. (Бесспорно то, что эта грань творческой свободы еще больше подталкивала его к опасности впасть в "расправу над вещами" в моменты разочарования, когда он называл себя бездарно-стью.) Позже, в 1914 году, Райнер назовет творцом того, кто хоть и не вынужден "растворить в себе все то, что он не властен подчинить, но в действительности делает это постоянно, чтобы извлекать субстанцию из того, что он изобретает и чувствует: из вещей, животных — почему бы и нет? — и, если это нужно, даже из чудовищ". Можно добавить: из собственной "чудовищности" тоже.

Несмотря на его огромную привязанность к Родену, чувствовалось, в какой степени природный дар Райнера — ибо он сам создал для себя свой образ Бога — диаметрально противоположен роденовскому.

Совершенно очевидно, что и их личные отношения не могли длиться долго, ведь малейшие, даже случайные недоразумения оставляли в них трещину. Для Родена проблему решало его

блестящее здоровье и энергия, а так как первейшая задача жизни есть служение искусству, все, включая минуты беззаботной радости и разрядки, соединялось, чтобы обогатить его искусство. Для Райнера перенять манеру Родена означало превратить акт творчества в пассивное самоотречение, безоговорочное повиновение мэтру, который им руководил, и это ему отчасти удалось, в частности, благодаря собственной внутренней противоречивости, которая была его спасением, подавляя всплеск эмоций холодной властью цензуры.

Вот почему ничто, до довольно позднего появления его блистательных "Элегий" и "Песен Орфея", не могло дать такой сильный толчок творчеству Райнера, как описания *Бедняков-которые-богаче-всех:* хотя бы, для примера, эти судьбы влюбленных женщин, которые, насколько бы трагичными они ни были, все же привели к полному самоотречению, а значит, к истинному владению собой. В "Первой Элегии" он так говорит о них: "Смотри на них, завидуй им, — покинутые женщины, чьей душе, переполненной любовью, нет успокоения". (См. Сонеты в переводе с португальского, 24 сонета к Луизе Лабе, "Письма Монахини" и т. д.)

В те годы, когда рождались "Элегии", отрывки из коих Райнер мне присылал, ему пришли в голову слова — в них весь Райнер, — которые поют хвалу человеку действия, как и влюбленному человеку, с бульшим жаром, чем человеку искусства. Так, в едва зарождавшейся "Седьмой Элегии" появилось четверостишие, озаглавленное "Фрагмент":

> Вот герой устремился вперед чрез препоны любви.
> Каждая из них возвышает его все больше.
> Сердце с каждым ударом рвется вперед, вот, вот,
> но стоит вздохнуть безотчетно,
> как новая преграда пред ним встает.

Едва закончив "Мальте", Райнер решил больше не писать и в некотором смысле переместить то, что было его книгами, в плоскость, повернутую к реальности, к жизни. Я почти до-словно вспоминаю нашу беседу летом пополудни в нашем саду. Мы вышли поговорить о том, что существует тип влюбленных, который черпает силу в иллюзиях своей любви, и о том, что чем более безответной она остается, тем мощнее и плодотворнее ее творческий потенциал. Райнер просто взорвался стоном отчаяния: да, создавать и иметь силы создавать — это родник творческой энергии в душе человека, нужно только доказывать себе, что наивысшее творение человечества *существует,* как

доказывают себе это влюбленные! Но то, что создает художник, стоит по ту сторону дорогих ему предметов, и именно оттуда он черпает свое вдохновение. И каждый раз, когда оно покидает его, он, он сам теряет смысл. Ибо *все сущее* (все то, что существует) о нем даже не ведает и в нем не нуждается: он один нужен себе, чтобы познать самого себя. Причиной того, что для Райнера еще со времен его юности невыносимым мучением было ожидание часов подъема работоспособности, было его хрупкое здоровье: не только тело было подорвано этим ожиданием — все осложнялось его истерией. То есть вместо обычной подготовки к работе, когда художник колеблется, как начать, у него начинались приступы повышенной чувствительности и раздражительности, боли, доходящие до кризисов и спазмов тела. Райнер называл это, иногда в шутку, — хотя чаще всего это терзало его до отчаяния, — "своей неуместной писаниной", а свое тело — "хитроумной обезьяной". Это значит, его боли проникали даже в чисто психические области: он позволял за-хлестнуть себя этим всплескам, которым не было оправдания и которые повторялись с такой силой и упорством, что он, дол-жно быть, забывал, с каким жаром он отдавался своей настоящей жизни, понимаемой им в такие моменты как "обезьянничание". Однако самыми болезненными были часы, когда судьба преподносила ему неподдельные подарки, когда он бывал окружен состраданием, добротой, уважением, дружбой. Его буквально обволакивали этими чувствами, даримыми с такой красотой и величием, но он, истинный Райнер, горько плакал в душе, что вызывал их, он, тем не менее, воспринимал их только как легкое опьянение, некую помеху, имитируя видимость того, что он их принимает, хотя его внутренний мир творца так и оставался чуждым этому блаженству.

Я думаю, все это можно отнести на тот счет, что некогда Райнер увлекался оккультизмом и возможностями медиума, трансцендентными значениями слов и влиянием мертвых; он выводил из этого подобие символов существования и некое совершенное знание, которым пытался наполнить эти символы. В спокойные периоды он отметал все это, отторгал почти с дикой яростью.

Больше всего меня потрясло то, что даже тогда, когда у него появились ученики — в буквальном смысле слова (немецкий термин Funger — "ученик" — означает также еще "тот, кто младше"), — которым он был наставником и другом, у него оставалось подозрение, что это какая-то мучительная обязанность, и он только имитировал себя. Он не просто казался проводником и опорой — он был ими реально, но в то же время

эта функция неумолимо казалась отображением его напрасного стремления быть собой. Отсюда он черпал свою значимость; к тому же его старая мечта "стать провинциальным доктором" и жить среди больных и бедняков усиливалась тем, что он, действуя как Спаситель, хотел материализовать и обеспечить себе собственное спасение, чтобы в него верить.

Промежуточность положения между даром творить и необходимостью принуждать себя пользоваться им, что превращало его в "карикатуру", некую имитацию — вот в чем зловещая судьба Райнера. Не стоит путать это с теми относительно без-обидными минутами, когда люди исключительной этической чистоты или стремящиеся достигнуть морального совершенства в минуту слабости бросаются с головой в успокоительную иллюзию, в которой они себя же затем упрекают; для них это всего лишь прямая, на которой их душа становится то лучше, то хуже. Но у Райнера это носило отпечаток такой бескомпромиссной серьезности, что выходило за рамки морали, если только его собственные законы и запреты не аннулировались доктриной о предопределенности свыше. Ведь самым ужасным в судьбе Райнера было то, что она (судьба) даже не позволяла ему убедить себя, что у него есть право роптать. Во всем, что возносило его над ним самим, когда он творил, или в том, что увлекало его за собой, одновременно защищая, в самые сокровенные глубины, было не меньше принудительного и рокового, чем во всем том, что распыляло его на псевдоактивность или на пустоту великой бездеятельности. Оно еще в ранней юности подтолкнуло его искать, увы, бесцельно, свое спасение в гипотезе, что он, такой, какой есть, был предопределен еще до рождения: скопище недостатков, которым он всегда был и которые, хотя он это горячо отвергал, всегда составляли часть его ценности. С особой силой все это сосредоточивалось на его матери. "Подумать только, я ее сын; и в этом вылинявшем осколке стены, стены, которой уже нет, — есть потайная дверца, почти не различимая, давшая мне выход в этот мир! — если предположить, что это был действительно выход в мир…"

Пусть эти строки и кажутся в высшей степени личными, не стоит их так понимать, потому что только страсть преувеличения делает понятным смысл суждения: оно переносит в сферу имперсонального, почти в миф, все то, от чего Райнер хотел освободиться. Несколько лет спустя, когда мы втроем столкнулись в Париже, он был немало удивлен, что его мать не так уж ужасна, как ему показалось ранее, мне же она показалась скорее крайне сентиментальной. Его отвращение исходило от

отчаяния, так как он не мог отделаться от навязчивой идеи видеть в матери смехотворно деформированное отражение самого себя.

…Бунт Райнера против личности его матери лишь в слабой степени иллюстрирует то, что в нем с величайшим ужасом противилось, когда его подлинная сущность, тронутая благодатью, этой привычкой фантома, создавала видимость того, что эта личность становилась им самим — вечной материнской глубиной небытия.

"Смерть, — утверждал он, — лишь иная, невидимая и не-осветленная сторона жизни. Мы должны стремиться к высшему сознанию нашего бытия, которое чувствует себя дома в обоих неразграниченных между собою сферах бытия и питается из неисчерпаемых источников… Истинное объемлет обе сферы…"

Лу Саломе, Аким Волынский. AMOR

Романтический набросок

ОТ АВТОРОВ

Этот набросок, предлагаемый на суд читателей, создавался не совсем обычным способом. В беседе двух литературных знакомых возникла мысль передать в повествовательной форме летучие настроения, сопутствующие некоторым тяжелым жизненным драмам. Один из них тут же стал слагать в небольшую цельную вещь отдельные подробности намеченной темы, которые, казалось, могли быть допущены в непритязательном беллетристическом произведении. Другой передавал на бумаге возникающие черты рассказа. Так написались эти несколько страниц, которые в черновом виде подверглись тщательной обработке.

В одном их отделений спального вагона шла оживленная беседа. Голоса разговаривающих доносились через открытые двери в соседнее отделение — особенно один голос, нервный, слегка хрипящий, переходивший на верхних нотках в фальцет. В тоскливой духоте вагона слова его звучали страстно и убедительно:

— Меня волнует этот процесс. Я ненавижу газеты, с их рекламами и шантажными сообщениями, я никогда не читаю душераздирательных описаний всех этих убийств из-за любви, с финалом на скамье подсудимых. Но в этом процессе есть что-то особенное.

В руке говорившего зашелестела газета.

— Вы, Адриан Петрович, пожалуй, не поймете того, что именно произвело на меня такое впечатление… Эта девушка не выходит у меня из головы. Почти библейский образ! Она омывала ноги своего любовника. А он бил ее по голове.

Адриан Петрович вынул тонкий носовой платок и, медленно развернув его, ударил им по коленям, стряхивая дорожную пыль и пепел. Потом он смял платок в руке, молча и пристально посмотрел на собеседника и ответил мягким приятным баритоном:

— Для меня эта подробность, с омовением ног грубому любовнику, только противна. В этом есть что-то истерическое. Восторженная любовь, коленопреклоненная — и в результате окровавленный нож. В этом есть что-то невыносимое для нервов.

Право, я удивляюсь вашему пафосу, Сергей Дмитриевич. Не нужно никакой особенной морали, — достаточно одной капли эстетического чувства, чтобы понять всю пошлость этой мелодрамы.

Собеседник ответил стремительно, но несколько смущенно:

— Вы не поняли… Меня заинтересовал не финал, не само убийство, а совсем, совсем другое. Ведь настоящая трагедия разыгралась гораздо раньше — тогда, когда эта девушка перестала омывать ноги своему любовнику, когда кончились все эти истерические, как вы выражаетесь, нежности. Нежности-то и спасали любовь от грубости жизни. Любовь — как нежное растение, за которым надо ухаживать, осторожно, бережно… Умерла любовь, наступило отчаянье с его безрассудными жестокостями.

Адриан Петрович пренебрежительно рассмеялся.

— Экая поэтическая душа у вас, Сергей Дмитриевич! — заметил он. — К чему эти цветы красноречия! Любовь всегда одинакова, она живет мгновениями, много-много часами: загорается, потом потухает. Такова она была от рождения времен, такой она и должна быть — случайной, летучей…

— Нет, вечною! — острым фальцетом вскрикнул Сергей Дмитриевич. — Вечною, до смерти. Но для этого надо жить любовью, не разлучаться, отдаваться ей, служить ей — и ничему другому. Ничему и никому, ей одной.

Адриан Петрович соболезнующе вздохнул и сказал с игривой улыбкой:

— Я вижу, мой друг, вы в каком-то сентиментальном настроении!.. Уж не хорошенькая ли блондинка, которая только что проходила по коридору? Хотите знать, кто она? Я был ей однажды представлен. Она вдова, а теперь, говорят, у нее завязалась какая-то любовная история. Кажется, им пришлось на время расстаться…

Поезд выбежал из тесной горной лощины и загремел по высокому железному мосту. Гудение колес заглушило слова собеседников.

Молодая дама, сидевшая в соседнем отделении, у самой двери, напряженно прислушивалась к замирающему разговору. По ее бледному продолговатому лицу, которое казалось измученным, помертвевшим, пробегали живые тени. Облокотившись на мягкую сафьяновую подушку, она с заметным волнением следила за горячим спором, доносившимся из открытых дверей. Одного из собеседников она назвала про себя "романтиком". Его доводы что-то шевелили в ней. Она чувствовала себя одинокой, подхваченной отливающей от берега

волной, которая уносила ее вдаль, и она невольно цеплялась за каждое слово, которое соединяло ее с прошедшим. Когда беседа заглохла в шуме и грохоте колес, она откинулась к спинке дивана и закрыла глаза. Пред ней встало неправильное, острое, страдающее лицо того, с кем она простилась сегодня на станции железной дороги. Он стоял без шапки, и потом, склонившись, припал пересохшими губами к ее руке. Он целовал эту, затянутую в перчатку руку безмолвно, долго и, удерживаясь от рыданий, слегка защемил ее губами. Раздался свисток локомотива, вдоль поезда пронеслось хлопанье вагонных дверей. Колеса дрогнули… Ей вспомнилось, что в последнее мгновение, когда он, не отпуская ее руки, пошел за двинувшимся вагоном, она произнесла одно только слово: "Осторожно!" Поезд ускорил ход…

Теперь они неслись по открытой равнине, залитой солнечным зноем. В вагоне было тихо. По коридору то и дело пробегал поездной кельнер, призываемый тонкими электрическими звонками пассажиров, которые требовали освежающих напитков. Из соседнего купе вышел молодой человек, среднего роста, с бледным, безбородым лицом. Она сейчас же подумала, что это "романтик". Проходя обратно, он по ошибке схватился за ручку ее двери, растерянно посмотрел близорукими глазами, вспыхнул и, многократно извинившись, скрылся. Разговор за стеной возобновился, но уже более сдержано, негромко.

Она продолжала чутко прислушиваться к долетавшим до нее отрывочным словам. Ничего нельзя было разобрать. Она нетерпеливо встала, прошлась по купе и, выйдя в коридор, остановилась у окна, прильнув лбом к прохладному стеклу. Ей хотелось бы еще раз взглянуть на "романтика". Его слова, вырвавшиеся в горячем споре по поводу петербургского судебного процесса, вызвали в ее душе целым рядом неотвязчивых воспоминаний образ только что покинутого человека. И он говорил недавно то же самое. И он говорил, что любовь — чувство нежное, которое боится всякой, даже случайной резкости и дуновения житейского холода. Он не хотел, он боялся разлуки. Он убеждал ее бросить все эти заграничные дела, которые остались нераспутанными после смерти ее мужа. Она взвесила их значение перед судом общественного мнения и с доверием к своему сердцу решилась на время уехать.

Теперь ей было больно, жалко, как если бы она выбросила из гнезда неоперившегося птенца — их новорожденную любовь.

Поезд, тяжело пыхтя локомотивом, подошел к пограничной станции. Публика хлынула на платформу. Молодая женщина сейчас же заметила "романтика" и, узнав его собеседника, пошла к ним навстречу. Они провели некоторое время, сидя за общим

столом, в незначительной беседе. Возвращаясь в вагон, она приветливо предложила обоим спутникам провести некоторое время в ее купе.

Будьте как дома, — сказала она с улыбкой на бледных губах. — Если курите, пожалуйста, не стесняйтесь. Я сама курю.

Романтик сел возле нее, по-студенчески заложив ногу на ногу. Адриан Петрович сел у окна напротив нее. Он провел своей выхоленной рукой с длинными пальцами по густым, низко подстриженным волосам. Это тихое движение руки по темной щетине волос, очевидно, доставляло ему неуловимое удовольствие. Затем он вынул из жилетного кармана небольшую матово-серебряную спичечницу с золотой монограммой, чиркнул спичкой и закурил тонкую сигарету. Казалось, он чего-то ожидает. Он бросил беглый взгляд на своего товарища, приготовляясь к молчаливому участию в его беседе с красивой блондинкой. На нее он как будто не смотрел. Но когда она вынула папироску, он вежливо нагнулся и протянул ей зажженную спичку.

— Это вы, Сергей Дмитриевич, заинтересовали меня вашею беседою, — сказала она, обращаясь к "романтику" с покровительственной добротой в утомленных глазах. — Ваши мысли казались мне более верными, чем возражения Адриана Петровича, и даже прекрасными. Только в одном пункте я с вами совсем не согласна. Вы отказываете любви в способности выдерживать разлуку. Мне кажется, вы этим оскорбляете любовь.

— О, нет, я боготворю любовь! — с живостью отозвался романтик. — Но именно потому-то я и говорю: нужно любить любовь, чтобы не потерять ее.

Она ответила не сразу. В душе ее толпилось много возражений, но слова не приходили. Она не могла уловить их. И, кроме того, что-то мешало ей в эту минуту. Она потянула дым из папироски и, выпустив его, невольно подняла глаза на Адриана Петровича. Он все еще как будто не смотрел на нее, занятый игрою собственных мыслей. Солнце клонилось к закату, и красновато-золотистый столб света шел от окна. Вдруг она заметила, что прямо навстречу легким крутящимся кольцам ее папиросного дыма быстро неслось голубоватое облачко, выдыхаемое ее красивым молчаливым спутником. Два дымка сплетались, смешиваясь в солнечной полосе, и вместе улетучивались в открытое окно. Это повторялось всякий раз, как она выпускала тонкую дымную струю своей папиросы.

Несколько смутившись, она сказала:

— Я совсем не философ, Сергей Дмитриевич. Я только что ощутила сильное возражение вам, но оно куда-то улетучилось…

Впрочем, это понятно: любовь — как музыка, которая поется сердцем, а не рассудком. О ней трудно рассуждать. Ум молчит, но сердце мое говорит мне, что вы неправы. Оно говорит мне, что настоящая любовь сильна, смела, мужественна. Она может все переждать и перетерпеть.

— Какие сильные слова вы употребляете для такого нежного предмета! — заметил "романтик" с грустным упреком в голосе. — Мне кажется, любовь похожа не на бестрепетного героя, а на слабого ребенка, жизнь которого всегда в опасности. За ним надо следить во все глаза, иначе он не вырастет. Вспомните, как изображается Амур: это дитя с мягкими крылышками.

Молодая женщина опять промолчала. В купе сгущались сумерки. Беседа прервалась. Глаза ее невольно следили за тем, как на светлом фоне окна все еще сплетались, сливались и отлетали два играющих дымка. Теперь для нее было несомненно, что дым сигареты посылался ей с тонким расчетом — как раз в тот момент, когда она рассеянно выпускала свои маленькие, расплывающиеся колечки. Что-то странное, тревожное разлилось по ее телу. Она почувствовала, что серые глаза Адриана Петровича остановились на ней и смотрят ей в лицо упорно и откровенно.

Кондуктор вошел в купе, чтобы зажечь фонарь, вставленный в потолок. "Романтик" встал и на несколько минут вышел в соседнее отделение. Когда кондуктор удалился, молодая женщина внезапно почувствовала неловкость. Острая боль кольнула ее сердце. Этот чуждый ей человек что-то губил в ней — дорогое, важное, нарушал священное одиночество ее любовной скорби. И однако у нее не было сил сопротивляться. Она чувствовала раздражение и смятение во всем своем существе. В окно неслось прохладное веяние вечернего воздуха, и она ощутила в теле легкую дрожь. Чтобы прервать томительное бездействие, она встала и потянулась к сетке, в которой лежал ее плед. Адриан Петрович приподнялся помочь ей, и так как на быстром ходу поезда она покачнулась, он поддержал ее свободной рукой, слегка обняв за талию. Она не противилась: рука его казалась тяжелой и вместе с тем приятной. Чуть слышное дуновение пронеслось в ее душе. Она ничего не сказала и опустилась на скамью, выронив поданный ей плед. Он поднял его, развернул, прикрыл ее колени и заботливо расправил на ее ногах до самых носков.

Когда вернулся Сергей Дмитриевич, в купе стояла тягостная тишина. Он попробовал возбудить разговор, но спутники почти не давали отклика. Молодая женщина все более и более уходила в себя. Представления ее теряли форму, расплывались, а над ними

брезжил новый тусклый свет. Ей хотелось остаться одной. Романтик казался ей теперь наивным, а другой, который незаметно вторгся в ее настроение, становился ей невыносим. Оба заметили ее тревожную молчаливость. Оставалось только вежливо распрощаться до завтрашнего утра и уйти.

Теперь она была одна. Служитель приготовил постель. Она закрыла за ним дверь и, медленно раздевшись, легла. Мысль ее с внезапною силой вернулись к тому, с кем она рассталась и от кого поезд уносил ее все дальше и дальше. Но черты его лица ускользали, теряли свою живую пластичность. В первый раз она со страхом и болью поняла, что время заключает в себе разрушительную силу. Где он теперь? Что он чувствует? Холодная ночная мгла лежала между ними. Курьерский поезд несся с сумасшедшей быстротой. Тяжелые колеса вертелись с гудением и ревом, в котором слышался суровый ритм. Она лежала в полузабытьи, и неизвестно почему прозвучало в ее душе последнее слово, сказанное ему на прощанье: "осторожно"… И с каждым поворотом колес слово это само собою повторялось и как бы сливалось с угрожающим напевом бегущего железного чудовища.

Вдруг ей почудилось, что кто-то ходит по коридору мимо ее двери. Это стало волновать ее. Она раздраженно поднялась, приникла к двери ухом и ясно услышала, что шаги как раз подле ее купе замедляются. Она сейчас же поняла, кто еще раз пытается нарушить глубокую скорбь ее опасного одиночества. Она с отвращением и негодованием бросилась на постель и зарыдала…

В половине шестого утра поезд остановился у Центральной станции Берлина. Молодые люди бросились к соседнему купе, чтобы предложить новой знакомой, чтобы помочь вынести вещи, но она была уже в коридоре и, отвернувшись, быстро вышла на платформу. Она еще раз мелькнула перед ними в толпе с мертвенно бледным лицом.